

КЛАРА ЯРУНКОВА

Брат  
Майгальского  
Волка



Я знал, что с самого рассвета Йожо подстерегает у ручья старую форель, и отправился искать его.

— Сгинь! — заорал Йожо, заметив меня, и швырнул силоновой авоськой. — Ведь почти поймал! — разорвался он. — Ну погоди! — и бросился вслед за мной. Но я уж был таков.

Йожо — мой брат. Но когда он ловит рыбу, я начинаю просто ненавидеть его. Вздохнуть не дает. Ему можно все, а другим ничего. Его, видите ли, рыба не слышит, а других слышит какой-то там «боковой» линией, которая будто бы у них, у рыб, вместо ушей. Тоже выдумал! Чтобы слышать, уши нужны, а не линии. Йожо эту линию придумал назло нам с Габкой, просто чтобы торчать у ручья одному. Самый настоящий эгоист! Как будто вся рыба его, и эта старушка форель тоже, хотя первыми увидели ее мы с Габкой однажды воскресным утром. Габка всё показывала мне незабудки, а я притворялся, будто не вижу. И тут старушка форель возьми да и выскочи из воды прямо перед Габкиным носом! Габка от неожиданности плюхнулась в воду, прямо в воскресном платье! Упала она, правда, у самого берега, но как раз здесь камни грязные, скользкие и зеленые. Сперва мы не хотели говорить Йожке про форель, но когда он приехал на каникулы из Штявницы домой, не удержались. И зря! Теперь он орет: «Сгинь!» — и один вот уже вторую неделю охотится за старушкой форелью. Хочет взять живьем и выпустить в наш бассейн. Потому-то и ловит ее маминой авоськой, чтобы крючком не поранить ей губы. Ведь она такая тяжелая.

Йожко говорит, будто форель уже два раза показывалась из-под камней, но каждый раз мы ее спугивали. И теперь он нас просто ненавидит. Из-за нашей же собственной форели! Подумаешь! Он видел ее морду, а мы еще в июне всю целиком!

Вот какой у нас брат!

А Габка с отцом поехали сегодня на «лимоне» в деревню за молоком. Мы корову не держим, чтобы летом туристов не жрали мухи, а молоко берем у лесника на окраине деревни. Отец возит молоко на «лимоне» в двух больших бидонах, и Габка почти всегда увязывается с ним, потому что там, в деревне, живет ее подружка Эвочка-ревелочка, которая даже своего собственного индюка боится. Лично я не люблю ездить к Рыдзикам (Рыдзик — это тот самый лесник). Во-первых, потому что они мне за год, пока я хожу в школу, успевают надоест, а во-вторых, мальчишек у них в семье нет, только три девчонки, да и те дуры. Только знают для кукол платья шить, а когда наша Габа к ним приезжает, то и она тоже прямо на глазах начинает глупеть. Садится, закидывает ногу за ногу и начинает на коленке выкраивать какие-то юбочки, и все «сю-сю» да «сю-сю» со своими куклами. Глядишь и не веришь — неужели это та самая Габка, которая ловит змей голыми руками?! Вот почему я не люблю туда ездить. Мне ни капельки не интересно вдевать нитки в иголки для четырех глупых девчонок.

Лучше уж провести это время со Стражем и Боем. Когда я удирал от Йожки, я специально завернул за угол дома: они обычно оба лежат, растянувшись возле ледника, прячутся от солнца, потому что сенбернары больше всего на свете ненавидят тепло. Летом они страшно худеют; совсем, бедняги, изводятся от страха, что никогда больше не увидят снега. Вообще-то сенбернары собаки очень умные, но ведь собаки всего-навсего собаки и не понимают, что после лета всегда приходит зима, а после холодов наступает жара, хотя они, бедняги, жары не выносят.

Жару они не любят, но очень любят, если мимо кто-нибудь бежит бегом. Они тут же вскакивают и пускаются вдогонку, совершенно забыв, что не собирались даже шевельнуться. Самое лучшее — промчаться мимо, не обращая на них никакого внимания. Этого они выдержать не могут и сразу кидаются следом, словно львы. А я мгновенно переносусь

мыслями в пустыню. Я петляю по песку, который мы в прошлом году привезли, и весь дрожу со страху, как бы львы не сожрали меня, если я случайно поскользнусь. Лев (это Страж, он умеет свирепо рычать) разорвет меня в клочья, а львица (это Бой, он вообще рычать не умеет) обгложет мои косточки. И когда они побелеют на солнце, на верблюде приедет Габка и соберет мои останки в платочек.

Я уже выскочил из-за угла и мчался «по пустыне», а лев уже рычал и огромными скачками несся за мной по пятам, когда я заметил за собой всего четыре бегущих лапы. Четыре лапы никак не восемь, а один лев — не два. Ну, нет. Так не играют! А кто будет обглаживать мои косточки, если нет львицы? Я остановился, и Страж кувырнулся в песок.

— Где Бой? — рывкнул я на него.

Он пыхтел, как паровоз, и лежа протягивал ко мне лапы.

— Катись куда подальше, крыса ты несчастная! — завопил я. По-хорошему он не понимает.

Я отправился искать Боя за ледник. Туда, где на опушке леса начинаются заросли молодняка. Там прохладно. Даже малина созревает только к концу каникул.

— Бой! — крикнул я папиным голосом. — Бой! Ко мне!

В малиннике ничто не шелохнулось. Прячется где-то.

— Бойчик... — запел я Габкиным голосом. — Где ты, Бойчик! Не бойся, Бойчинька...

Габку Бой просто обожает. За ней он полез бы и в печь, где хлебы пекут, не то что на солнцепек. Но когда не помогло и это, я понял, что Боя в малиннике нет.

Я огляделся: почему это вокруг такая страшная тишина?! Ведь здесь же не всамделишная пустыня! Всюду деревья, даже в кухонное окно ветки лезут. А сейчас ни один листок не шелохнется. Вообще-то деревья шумят довольно громко, и чем ближе вечер, тем шум сильнее. Иногда ночью они шелестят так страшно, будто по небу мчатся миллионы бомбардировщиков, а по земле идет миллион танков или, как говорит наша Юля, словно все черти на свете свадьбу справляют.

Но сейчас деревья стоят притихшие, будто окаменев от страха. Будто баба-яга их заколдовала и приказала: «Только посмейте шелохнуться! Увидите, что я с вами сделаю!» Вот они перепугались и, заклятые, стоят тихо.

Я сбросил ботинки и босиком, бесшумно, слово рысь, двинулся за угол хлева — взглянуть на осину. Там, среди сосен, наверное по ошибке, выросла одна-единственная осинка. Гляну на нее и увижу: деревья по правде заколдованы или это мне только кажется. Ведь листья осины всегда трепещут и шумят не переставая. Но если лес в самом деле заколдован, то и осина притихнет, а ее листочки печально повиснут на неподвижных ветках.

К осине надо идти вдоль загона, который отец устроил еще в прошлом году для поросят, чтобы они не торчали вечно в хлеву и им было где побегать. Я только глянул на загон — и перепугался: там, на задних лапах, встав передними на доски, стоял Бой, и солнце немилосердно пекло его голову. Ни один нормальный сенбернар этого не выдержит, разве только заколдованный.

Значит, не только деревья заколдованы, но и животные тоже!

Быстро, стараясь не шуметь, я принялся махать руками, дергать головой, извиваясь всем телом. Могу! Я сделал несколько шагов и приблизился к Бою. Он меня даже не заметил.

— Что смотришь, морда? — сказал я ему, чтобы выяснить, услышу ли я свой собственный голос.

Я-то услышал, но Бой, как видно, нет. Потому что он и ухом не повел. А ушами шевелить он может даже в самую сильную жару. Я облокотился о загородку рядом с ним и снизу заглянул ему в глаза, чтобы выяснить, куда это так упорно смотрит наш заколдованный сенбернар. На Маришку! На поросенка, зарывшегося в пыль! И поросенок, тоже как зачарованный, лежит и глазом не моргнет!

— Ты чего это, Бой? — спросил я. И у меня тут же мелькнуло в голове, что поросят-то ведь только сегодня привезли, а бедняга Бой, может быть, за всю свою жизнь ни одного поросенка вблизи не видал. — Ну, — подтолкнул я его, чтоб он перескочил через загородку, — это поросенок, понимаешь? Пойди погляди!

Я и вправду хотел, чтобы он посмотрел на поросенка вблизи, потому что хорошо знаю Боя, знаю, что он верит только тому, в чем сам убедится. Ведь я тоже такой. Что из того, что я сто раз видел слона на картинке? В зоопарке мне необходимо было дотронуться до него, чтобы поверить, что он живой. А как я вопил, когда слон протянул ко мне хобот!

— Ну, ну! — толкнул я его. — Прыгай ты, трус!

Бой потерял равновесие и перевалился через загородку. Медленно поднявшись на лапы, он опять уставился на неведомое ему существо.

Могу поспорить, он не знал, где у этого зверя голова и где ноги. Ведь если б знал, то не улегся бы нос к носу с чумазым поросенком!

С минуту они так оба и лежали. А я не решался даже вздохнуть. Тишина становилась все напряженной. Я хотел взглянуть на небо — может, хоть там что летит, — но не смог отвести взгляда от этой парочки, лежащей в пыли. А вокруг все замерло. И на небе, и на земле, и в поросячем загоне.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если б вдруг поросенок с превеликим усилием не приоткрыл один, залепленный пылью глаз. Сквозь тонюсенькую щелку он увидал Боя, фыркнул ему прямо в нос, подняв облачко пыли, и, продолжая лежать, хрюкнул: «Хрю!»

Одно только «хрю», и с Боя словно сняли заклятие.

Он раза два трепыхнулся, прежде чем ему удалось подняться на лапы, перемахнул через загородку и с быстротой молнии исчез в малинике (насколько я знаю нашего Боя, он там не меньше получаса дрожал от страха!). Тут я тоже оторвался от забора и захохотал. Я просто помирал со смеху, увидев, как этот шалопай поросенок улыбается, даже смеется пыльными глазками-щелочками.

К осине я больше не пошел. Деревья, как по команде, зашумели, макушки старых сосен закачались, лопухи у забора мягко захлопали серебристыми ладошками. Из-за дома, печально квохча, выплыла Крампулька. Миновала «пустыню» и важно прошествовала в сарай.

Меня больше не занимала осина. Я уже знал, что она снова трепещет под теплым ветром.

Из-за Круповой Голи слышался мелодичный рокот. Сначала он был тихим, будто жужжанье лесной мухи, что ползает утром под абажуром. Потом стал сильнее, сильнее, и вот над серым горным хребтом появился сверкающий самолет. Утренний татранский рейс. Самое время удирать подальше от дому.

— Дюро-о-о-о! — слышался из окна Юлин голос.

Эх, опоздал!

— Дюро-о-о-о! — зовет с ехидством в голосе Юля. — Ступай домой, Дюрка!

Как бы не так! Ну уж нет, пусть Юленька поищет Йожо.

Я решил, что сегодня ей не удастся меня загнать в кухню чистить картошку. Решил и выполнил. Не дал загнать себя в кухню. Вытащил корзину и котел с водой во двор и принялся чистить картошку перед домом. \* \* \*

В долине громыхнул взрыв. Эхо подхватило его и еще семь раз швырнуло с вершин прямо на наш дом.

Собаки примчались к дверям, когда грохнуло во второй раз. Сбили с ног отца, который выходил из дому, влетели в кухню и минут пять, забившись под стол, тряслись от страха.

— Ну, лопнуло мое терпенье! — закричал отец, поднимаясь с земли. — Бабы трусливые, а не собаки. Ступайте вон, труссы! — крикнул он в кухню, сорвал с вешалки дробовик и стал заряжать.

Бой забился в самый темный угол, а Страж остался сидеть на месте, притворяясь спокойным. Из-под стола виднелись только его глаза, но они говорили, что ему все это далеко не безразлично. Глядеть злобно, а тем более рычать на отца он не отваживался.

«Оу, оу...» — подвывал Страж, пытаясь задобрить отца своим красивым, глубоким голосом.

Так отец учил его приветствовать туристов.

— Прекрати! — не смягчался отец. — Что я сказал — убирайтесь вон!

Сбежались все наши женщины. Из комнаты вышла мама, из столовой — Юля, из-под стола вылезла Габка, которая там потихоньку обнимала Боя. Все принялись уговаривать отца, пытались отнять у него дробовик. Габка обхватила отца за ноги, чтоб он не мог сдвинуться с места.

— А ну, — сказал отец, — не выводите меня из себя. Ступайте все прочь! И вы марш из-под стола! — Это уже относилось к тем несчастным трусам.

— У них слабые нервы... — умоляла мама.

Действительно, у наших собак испортились нервы с тех пор, как минеры начали взрывать скалу. В двух километрах от нашего дома расширяли дорогу; скала мешала, и ее понемногу взрывали. Наши сенбернары просто дурели от страха.

— Трескать по два ведра в день у них нервы не слабые! — кричал отец, нагнувшись и заглядывая под стол. — А когда с дерева шишка свалится, готовы со страху в мышиную нору влезть!

— Ага, шишка! — хмыкнула Габка. — Ага, в нору!

— Хватит! — рявкнул отец. — Страж, вперед! Бой, вперед!

Когда отец назвал их по именам и дал команду «вперед», собаки поняли, что придется подчиниться; они вскочили, стол приподнялся и доехал на их спинах почти до самых дверей. Потом, поджав хвосты, уже без прикрытия, псы проскользнули мимо отца на улицу. А стол остался в кухне.

— Стоять! — крикнул им вслед отец. — Йожо, бери сахар, — сказал он брату, и мы все

втроем вышли из дому.

Собаки нас ждали. Страж стоял как каменное изваяние. Лишь глаза в черных ободках блестели и пристально глядели на ствол ружья. Бой вилял хвостом, крутил задом и протягивал отцу лапу. Этим трюком он может задобрить кого угодно, только не отца.

— Прекрати, негодник, — скомандовал отец. — Лежать, разбойники!

Страж послушался сразу. Бой тоже послушался, но со второго раза. Пес чувствовал, что отец смягчился, и улегся, но лапы перед собой не вытянул, хотя полагается вытянуть. Он повалился мешком на землю, задрал лапы вверх, перебирал ими и катался с боку на бок, чтобы развеселить хозяина.

Да только на этот раз у него ничего не получилось. Отец приказал еще раз:

— Лежать!

Бой довольно быстро поднялся и лег возле Стража в положении «смирно», Йожо положил им на вытянутые лапы по кусочку сахара. Бой стал вертеться и обнюхивать сахар. Сенбернары очень любят сладкое, и потому отец воспитывал у них характер: сахар давал, но не разрешал его есть.

У Стража воля сильная, на сахар он и не глянул. Но бедняга Бой испытывал адские муки. Он не мог отвести глаз от белого квадратика, обнюхивал его, подвывал, из пасти у него струйкой бежали слюни.

— Только посмей! — прикрикнул отец, отбивая у него охоту послушаться.

Отец, конечно, жалел его. Тряпка какая-то безвольная, а не собака. Не может пересилить себя, чуть не плачет из-за несчастного кусочка сахара!

Отец докурил сигарету, поднял свой дробовик и сказал, обращаясь к кухонному окну:

— А ну-ка, женщины, ступайте готовить ужин. Это дело наше, мужское!

Мы-то с Йожо мужчины, нам, конечно, можно остаться.

Страж и Бой тоже мужчины, да только трусливые.

— Слушайте вы, щенки, — бросил отец им это оскорбление, чтобы они разозлились и стали похрабрее. — Трусливым бабам в горах не место. Я хочу, чтобы вы были смелыми. Я сейчас выстрелю и, если кто-нибудь из вас шевельнется или, не дай бог, удерет, изрешечу всю шуру дробью — и баста! Поняли?

Собаки лежали неподвижно и смотрели отцу прямо в глаза.

Мне казалось, что они даже не дышат. Я боялся за Боя. Не такой уж он большой герой. Ума-то у него хватит на десяток собак, а вот насчет храбрости...

— А ну-ка, ребята, откройте рты, — посоветовал мне и брату отец. — Не то барабанные перепонки лопнут.

И он дал в небо такую очередь, что я едва удержался на ногах.

Я открыл глаза и увидел, что Страж не сдвинулся ни на миллиметр. Только глаза в черных ободках испуганно моргают.

Бедняга Бой тоже лежит на месте, но только задрал вверх лапы. Я кинулся к нему и схватил

его за передние лапы. Он мигом вскочил, обрадованный, что остался в живых. И тут же проглотил свой сахар, отлетевший в сторону, когда пес от грохота перевернулся на спину.

— Не знаю, выйдет ли толк из этого пса, — засмеялся отец и медленно подошел к Стражу.

— Ты, Страж, молодец, — похлопал он Стража по голове. — Настоящий мужчина! Можешь взять сахар!

Страж с достоинством слизнул с лапы белый квадратик и не спеша захрустел. Настоящий мужчина не станет показывать, что он лакомка, даже если будет помирать с голоду.

Отец протянул дробовик Йожо (я до него даже дотронуться не смею) и крикнул:

— Ко мне, разбойники! Сюда, тяпы-растяпы!

Собаки, радостно взыв, вскинулись на задние лапы, передними уперлись отцу в плечи, хотя были выше его на целую голову. Отец продолжал ругать их, утверждая, что они его опозорили, но было ясно, что он уже больше не сердится. Бой облизывал его с одной стороны, Страж с другой, и оба готовы были слопать его от любви.

Они даже нашу маму любят меньше, хотя она их кормит, и нас с Йожо меньше, и даже Габулю, которую обожает все зверье в мире.

Так они любят только отца. \* \* \*

Наш Йожо редко вымолвит словечко. Он охотнее всего молчит и бродит один, как отбившийся от стаи волк. Именно так сказал про него дядя Рыдзик, когда был у нас в одно из воскресений вместе со своей младшей дочкой Либушкой.

— Вок, вок, — закричала, картавя, Либушка, — нас Йозо вок!

И с тех пор это имя к нему прилипло.

— У него просто возраст такой, — заступилась за Йожо мама. — В его годы все мальчики любят одиночество. Не приставайте к нему!

Если к Йожо начинают приставать, он злится и не ночует вместе с нами в пятнадцатой комнате, а уходит за дом и устраивается на ночь в кроне старого бука. У него там шалаш, он устроил его на раскидистых ветвях дерева. Раньше Йожо отсиживался там только днем, когда читал папины приключенческие книги, а теперь иногда и ночует там.

Когда это случилось в первый раз, мама с фонариком стояла под деревом и звала Йожо домой. Но он убедил ее, что там ему будет лучше. И мама вернулась. А через минуту взяла одеяло и снова отправилась к старому дереву. Погасила фонарик и принялась уговаривать своего Йоженьку, чтоб он сделал ей одолжение и спустился вниз за одеялом.

— Да брось ты, мама, — высунулся Йожо из шалаша. — У меня здесь хвои полно. Она так здорово пахнет. Иди, мама, спи. Самое большее, что мне нужно, — это куска два хлеба с маслом и банку варенья.

Когда дело доходит до еды, то наш Молчаливый Волк немедленно превращается в волка прожорливого и очень даже говорливого. Он страшно много ест и наверняка мог бы есть даже ночью, когда спит. А что пользы-то! Вымахал высотой с дверь, а у самого только кожа да кости. Когда он тренирует на площадке бег на месте, я слушаю, не гремит ли он костями. Нет, кости не гремят, только пот с него льется ручьем прямо в кеды с дырками на месте больших пальцев. После тренировки Йожо прямо в кедах прыгает в бассейн и пускает себе на голову струю из шланга. Тогда становится видно, что, кроме костей и кожи, у него есть еще и

мускулы. И не только на ногах, но и на спине, на груди. Только ему этого мало, и, наверное, поэтому он столько ест. Но сегодня с едой у него ничего не вышло.

Мы с отцом, крадучись, следовали за мамой и остановились в темноте рядом с ней. И как только Йожо начал требовать чего-нибудь поесть, ему ответил отец:

— Лесной человек питается дарами природы, которые сам себе добывает. Я что-то не припомню, чтоб ты, Вок, когда-нибудь варил варенье или пек хлеб.

Йожо и не пикнул, а мама стала пробираться к нам. Одеяло белело в темноте, за него цеплялись ветки, и мама никак не могла приблизиться к отцу.

— Но щавель в твоей кладовой наверняка есть. Он полезен и полон витаминов. Нет ничего лучше естественной пищи. Да и лесные плоды уже поспевают.

Мама уже пролезла к нам и стала уговаривать отца. Она с удовольствием перетаскала бы к Йожо в шалаш все припасы из нашего чулана. Но отец настаивал на своем.

— Надеюсь, твое строение достаточно прочно, — сказал он, — но если ты ночью вдруг сверзишься вместе с ним на землю и переломаешь себе ноги, можешь не показываться мне на глаза.

— И не покажусь, — засмеялся Йожо.

— Желаю хорошо выспаться, — добавил отец. — Утром тебе предстоит тяжелая работенка в подвале. Привезут минеральную воду, будем складывать бутылки, а пустые приводить в порядок. Спокойной ночи! Надеюсь, я не услышу ночью, как ты воешь со страху.

Он направился к дому, а мы зашагали впереди него.

— Будь spok... — заворчал Йожо на буке и принялся назло нам зевать, как орангутанг, чтоб мы знали, как ему было с нами скучно.

— Если пойдет дождь, — крикнула мама, — приходи домой, сынок, дверей я запирать не стану!

— Можешь спокойно запирать, — ответил Йожо и заворочался на своем хвойном ложе так, что шалаш застонал в ночной тиши.

Я долго не мог уснуть. Всё лезли в голову мысли, как бы кто ночью к Йожо не забрался. К шалашу может прилететь сова и загукать ему прямо в уши. Может прийти самец косули чесать о дерево рога. В темноте трудно распознать, кто это: косуля или старый, ставший уже опасным олень. А то вдруг заявится дикий кабан или пожалуйет сам медведь! Может быть, он уже вцепился в ствол когтями и лезет прямо к шалашу!

Или на Йожо с соседнего дерева, в полной тишине, бросится рысь!..

Я встал с постели, укрыл Габулю еще одним одеялом и распахнул окно. Ночи у нас холодные. Набросив на себя одеяло, я, наверное, до самой полуночи прислушивался, когда же наконец вззоет со страху наш молчун Йожка или заскрипят двери и он, промокший до нитки, проскользнет в свою постель, — ведь пошел дождь, и довольно сильный.

Когда я проснулся, светило солнце и дом был полон звуков. По лестнице топали туристы. Я слышал голос отца — он что-то говорил им, — слышал, как Юля гремит в столовой ложками, а Габуля пересчитывает на улице кур. Я взглянул на Йожкину постель: она была нетронута. Прямо в пижаме я подскочил к окну. Йожо таскал из подвала ящики с пустыми бутылками.



— Йожка! — закричал я радостно. — Вок! С тобой ночью ничего не случилось?

— А что должно было случиться? — Йожо опустил ящик. Потом, поплевав на ладони, поднял его и понес к леднику, где ящики уже громоздились высокой стеной.

Вот это нервы! Мускулы не бог весть какие, но нервы крепче, чем у десятка культуристов. Интересно, что делал бы на Йожкином месте тот знаменитый культурист, что позирует для всех модных журналов в леопардовых плавках? Небось дрожал бы как осиновый лист, доведись ему провести целую ночь одному в глухом лесу. Это тебе не фигурировать перед объективом и выставлять свои мускулы на всеобщее восхищение.

Нашим Йожкой никто не восхищается. Только я один. А я для него пустое место. Меня брат не признает. Ведь я не такой герой, как он. Уж я-то в лесу ночевать не стал бы, даже за сто крон. Хотя за сто, может, и переночевал бы. Но за пятьдесят уж наверняка нет! А он — пожалуйста! Когда угодно и совсем задаром. \* \* \*

— Пойдем, если хочешь, с нами на Седло, — сказал мне как-то раз после обеда Йожо.

Страж и Бой уже стояли возле него, готовые отправиться в путь. Они сразу чувствуют, когда кто-нибудь куда-то собирается, и уже не отойдут ни на шаг, чтобы от них не удрали.

Я, конечно, тут же присоединился, Йожо редко зовет меня с собой на Седло. Поэтому я не стал брать ничего с собой на дорогу, чтобы он не раздумал или чтобы мама меня не задержала. Она это может: заставит сидеть дома — надо не надо! Сегодня помогать не нужно — обедов мы подавали мало, потому что туристы с самого раннего утра отправились по маршрутам в поход. Больше всего работы по вечерам. Так всегда бывает, если день ясный, как «рыбий глаз».

«Рыбий глаз» — это тоже папина выдумка. Каждый раз, если погода хорошая, он посмотрит на небо и скажет что-нибудь про рыбий глаз. Сегодня он этого не говорил. С самого утра он сидит в канцелярии с каким-то дядькой из «Туриста». У отца ревизия. А во время ревизии он всегда сердитый. Каждую минуту выбегает в кухню, чтоб облегчить душу и обругать бюрократов. «Я завтурбазой, а не канцелярская крыса!» — кричит он маме. Или вдруг заводит: «Опять у тебя перерасход трех килограммов свинины! Вот уволю тебя и найду себе кухарку, которая будет делать отбивные ровно по сто граммов, а не подавать кусищи в две ладони величиной! Не знаешь, что такое точный вес, а?!»

Мама ничего не отвечает, только слушает, а чтоб его еще больше не разозлить, иногда говорит:

«Смотри, как бы они у тебя там от жажды не померли, угости их чем-нибудь».

Тогда отец свирепеет:

«Ничегошеньки-то ты не соображаешь, жена! — кричит он. — Хочешь, чтоб они вообразили, будто я их подмазываю?! Ведь они в каждом видят жулика, вот что самое гнусное, вот чего я не могу вынести! А эти горы бумага! Я больше не могу! Осенью переселяюсь в долину. Поступлю куда-нибудь на работу и буду жить спокойно. Обойдусь и без этой турбазы!»

Потом он хлопает дверьми и возвращается к себе в канцелярию. Мама качает головой, жалеет его и говорит Юле:

«Без турбазы-то он, конечно, обойдется. Да только без гор не сможет прожить, вот в чем наша беда!»

Мама бы с удовольствием отсюда уехала. Как только начинаются осенние ливни и туманы, маме становится грустно и хочется быть среди людей. А главное, мы-то уже подросли, а

школа далеко. Мама с радостью бы переехала в долину, да только она, бедняжка, отлично знает, что не так-то легко это сделать.

Каждый раз, как только кончается ревизия, отец берет псов и отправляется в горы, а возвратясь вечером, говорит:

«Если засяду там, в долине, в канцелярии, то через неделю оттуда вынесут мой труп».

И целый вечер весело шутит, будто только что спасся от верной смерти. И уж, конечно, до следующей ревизии не вспоминает о переезде.

В общем, отец не выносит ревизий. А я, представьте себе, люблю. По крайней мере, никто не придумывает нам работы, пока отец занят ревизией, а мама — рассерженным отцом. Мы можем целый день бродить, уходим на Седло или на Дюмбер, и никто этого не замечает.

Да только лазить на Седло с моим братом Йожо не такая уж легкая работенка.

Во-первых, по дороге нельзя разговаривать, потому что настоящий мужчина ходит по горам тихо и незаметно. Тот, кто не может несколько часов помолчать, может брать себе в спутники сороку. Ведь она тоже без умолку стрекочет.

Во-вторых, надо идти ровным шагом, а не мчаться по равнине наперегонки с Боем, а вверх тащиться и пыхтеть или, не дай бог, усесться отдыхать. Так ходят только городские стилиаги. И те, кому не нравится ходить с Йожо, могут отправляться с ними и вместе ныть, как бабы, на последнем, самом крутом подъеме.

В-третьих, на Седле надо пробыть вместе с Йожо не меньше часа, потому что он туда взбирается не для забавы, а для того чтобы осмотреть леса, в которых скоро будет лесничим. И ручьи, полные рыбы, над которыми он будет хозяином. На это у него уходит полчаса, не меньше. Четверть часа он смотрит туда, где находится Баньска Штявица, где Йожо учится в школе лесничества и где живет его однокашник Петр Бубала. Еще четверть часа, а может быть и больше, он смотрит на Ружомберок, где живет его подружка Яна, фамилии ее я не знаю, потому что Йожо это скрывает. Если сложить все вместе, то как раз получится час, а может и больше, и все это время мы торчим на страшном ветру, который здесь, на гребне, пробирает до костей даже летом. «Кто боится ветра, — сказал однажды Йожо, — пусть лежит в кухне под печкой и мяучит хором с кошкой Жофией».

Я, конечно, еще не такой взрослый, как мой брат Йожо, но и не девчонка, и не по мне стрекотать с сороками или мяукать под печкой на пару с кошкой. Я могу выдержать и три часа без болтовни, могу шагать спортивным шагом и лежать целый час на Седле без рубашки, как Йожо. Когда он встает, я иногда с удивлением говорю: «Уже?»

Так было уже два раза, и я знаю, что сегодня Йожо только поэтому взял меня с собой. Подъем на Седло очень крутой. Йожо лезет по отвесной стене, уцепившись за уступ, а я еще только дотягиваюсь до его пяток головой. Если он сорвется, то столкнет и меня, и мы оба покатаемся вниз до самого нашего дома; нас, конечно, могут задержать кусты и деревья, но тогда нам конец. Да только Йожо не сорвется.

Мы всё поднимались, и Страж старался держаться поближе к Йожке, потому что он больше любит взрослых. Бой карабкался рядом со мной — этот больше любит ребят. Но оба пса ошибаются: я уже совсем не ребенок, а Йожо не очень уж взрослый, хотя и строит из себя такого. Ну да пусть его!

Когда мы пробились сквозь стланик, Йожо достал из сумки четыре яблока и каждому дал по одному. Бой свое мгновенно проглотил и стал царапать лапой по сумке, клянчить еще.

— Отстань, — сказал ему Йожка. — В горах мы все равны. Хватает нам, должно хватить и тебе!

И мы двинулись дальше.

Обрыв над стлаником порос колючей, скользкой травой. Здесь нужно быть очень осторожным — ведь каждую минуту ты рискуешь поскользнуться и вспахать носом землю. А упасть — это значит съехать вниз, к самым сосенкам, а потом снова карабкаться вверх. Правда, вниз спускаться очень здорово: не надо идти, съезжай себе просто на зад. Катишься быстро, как на Олимпийских соревнованиях по бобслею.

Нам оставалось до цели каких-нибудь несколько метров, как внезапно на самой середине Седла мы заметили вытянутую черную тучу. Она выплывала из-за гребня горы и чем ближе подплывала к нам, тем становилась шире. И, клянусь, она была совсем черная на этом ясном небе. Собаки бежали впереди, но тут, вдруг испугавшись, начали пятиться к нам. Спину еще грело солнце, но туча где-то на страшной высоте заволокла уже все небо до самого горизонта. Она плыла перед нашими глазами, раздувалась и растягивалась и казалась такой огромной, будто тянулась от Дюмбера до самого Хопока. Ветер усилился. С дикой скоростью он гнал прямо на нас эту черную мглу. Бой заскулил.

— Назад! — закричал Вок. — Скорее назад! — И тут же добавил: — Держись за меня, Дюро!!

Мы повернули назад, но было уже поздно.

Черная туча в мгновение ока перевалила через хребет, закрыла солнце, настигла нас и накрыла с головой. Мы не могли разглядеть даже своих ног и не знали, куда бежать. Всюду вокруг нас, над головой и под ногами, бурлил иссиня-черный туман, словно мы находились в гигантском кипящем котле.

Дождь лил не сверху, а со всех сторон, а впрочем, в этой крошечной тьме мы его не видели, просто через секунду мы уже были мокрыми до нитки. И вдруг в этом ужасающем грохоте я услышал собачий лай и завывание. И где-то совсем близко голос Йожко, его дикий крик:

— Дюрко! Где ты? Дюрко-о-о!..

Я кинулся на голос. Вок свалил меня на землю и накрыл своим телом как раз в ту секунду, когда над нашей головой грохнул гром.

— Ножик! — крикнул мне Вок в самое ухо, уже лежа на земле. — Бросай подальше ножик!

Я схватился за промокший карман, достал нож и отбросил его далеко от себя. Справа из тьмы взметнулась молния и словно жуткий огненный змей кинулась вслед за ножиком. Я зарылся головой в мокрую траву, чтобы ужасающий грохот не оглушил меня. Вок обхватил меня за шею, и так мы лежали с ним до тех пор, пока гроза не начала удаляться. Мы этого даже не заметили, просто нас нашли Страж и Бой. Вдруг стало теплее, и мы увидели, что псы лежат рядом. Бой по ошибке прижался к Воку, а Страж — ко мне.

Перебесившись, туча ринулась вниз, по направлению к нашему дому. Она ушла так же внезапно, как налетела, и снова засияло солнце. Совершенно ослепшие, мы долго ничего не видели.

Первым поднялся Вок. Мы трое — вслед за ним. С минуту Вок разглядывал нас, а потом принялся хохотать.

Я посмотрел на него. Он выливал из сумки воду. Мокрые волосы, совсем как на модной картинке, облепили его лоб, и через дырки в кедах при каждом движении выскакивали отличные фонтанчики.

Мы отжали свои мокрые штаны и долго потешались, глядя на сенбернартов. Мокрая шерсть повисла до самой земли, и на ходу казалось, что собаки переваливаются с боку на бок; так ползут, извиваясь, распластавшиеся на земле индейцы в промокших одеялах.

Потом мы стали искать мой ножик, да только зря. Я не знал даже, в каком направлении его швырнул; ведь я совсем не мог ориентироваться, когда туча накрыла нас с головой.

— Скажи спасибо, — сказал Вок, — что он у тебя не был привязан. Уж тогда бы тебе молния штаны-то распорола! Ну ладно, пошли вниз.

— Это почему? — спросил я. — Ведь мы еще не поглядели на Ружомберок!

Вок обозлился, но вскоре простил меня: ведь про Яну я даже не заикнулся!

— В другой раз, — засмеялся он. — Теперь в темпе спикируем в долину, чтобы вы не простудились.

Он опять из себя строил взрослого: «Чтобы вы не простудились»!

Правда, Бой пытался согреться на солнце; он был похож на мокрую курицу, весь дрожал и клацал зубами.

— Раз-два-три! — Вок повернулся и ринулся вниз. По мокрой траве можно было скользить и в кедах.

Страж с громким лаем пустился вслед за ним. Бой подождал меня, и мы заскользили то на подметках, а то и на заду, и не только по траве, но и прямо по кустам. Деревья мелькают мимо, а мы знай себе берем повороты — направо, налево, — как зимой на большом слаломе. И вот, сбившись в кучу, все вчетвером мы затормозили возле нашего ледника. Пыхтя и отдуваясь, как хорошие паровозы.

Потом прислушались, не ищет ли кто нас. В тишине хлопнули кухонные двери и раздался голос отца: он бранился.

Значит, ревизия еще продолжалась.

— Ну, все в порядке, — сказал я.

Мы отползли за поросячий загон и укрылись в лопуховых зарослях. Там можно сушиться хоть целый час, никто нас не заметит.

В долине еще светило солнышко. Я видел, как туча, уже совсем побледневшая, пробирается за Гапель, в Млынскую долину.

Прощай, счастливого пути!

Я глянул вверх на Седло, освещенное солнцем, и не смог представить себе, что только что пережил там самую страшную грозу в своей жизни.

— Вот это да! А, Вок? — Я уселся в лопухах. Мне хотелось еще немножко поговорить про грозу.

— Угу, — протянул Вок сонно. И больше ни звука.

Ему-то что... Игрушки! Ведь не его ножик пропал.

В воскресенье после обеда мы пошли под Шпрнагель, посмотреть, как растет наша картошка. Этого отец никогда не пропустит. И не забудет, даже если на нашей турбазе будет тысяча

туристов. Не забудет ни он, ни мы с Йожо, потому что это самое большое развлечение за всю долгую неделю. Мама не смогла пойти с нами. Она повернулась к нам спиной и принялась месить тесто к полднику. Она уже пекла пироги утром, да только всё съели туристы из Брно.

— Нет у меня ни отдыха, ни покоя, — ворчала мама и не угостила кошку Жофию ни единым кусочком теста. Значит, она рассердилась не на шутку.

А бедняга Жофия все ждала да ждала и, ничего не понимая, поглядывала на маму. Наша Жофия на страже каждый раз, когда мама месит тесто. Она обожает тесто и по крайней мере треть пирога съедает сырым... Вот как мама любит нашу кошку!

Маме пришлось остаться, а мы пошли.

«Мамино поле» (так отец окрестил его) находится за ручьем под холмом, который называется Шпрнагель. Мама считает, что это равнина. Летом, может быть, так оно и есть. Но зимой это достаточно крутой склон, на котором мы с Вокком тренируемся на лыжах, отрабатываем спуск.

Мы только еще вошли на мостик, как отец уже начал посмеиваться. «Все-то у нас, мать, получается словно по щучьему веленью», — сказал бы он, будь мама с нами. И действительно, лопухи, полынь, конский щавель и прочая дрянь переселились с горы на наш маленький возделанный участок, и он уменьшился на метр с каждого боку.

— А ну-ка, — воскликнул вдруг отец, — пойдите-ка сюда! Или меня глаза обманывают?

Мы подбежали к отцу. Он показывал куда-то на середину поля.

— Что ты там видишь, Дюро?

— Цветок, — ответил я. И это была правда.

— А ты, Вок?

— Тоже. Целых три.

Честное слово, мы нашли три белых картофельных цветка. И всё. Сколько ни искали.

— Мировое достижение в огородничестве! — вскричал отец. — Ступайте зовите маму.

— Зачем? — сказал я. — Сорвем цветы и поставим их дома в вазу.

Мы долго смеялись, но цветов обрывать не стали.

— Маме не нужны картофельные цветы, — проворчал Вок. — Ей нужна картошка. И нечего над мамой смеяться!

Наша мама выросла в деревне и постоянно что-нибудь сажает да окапывает. Напрасно наш отец ее поучает: «На высоте тысяча двести метров природа диктует свои законы и дает жизнь только тем растениям, которые отбирает сама». Мама его не слушает. Каждую весну она пропалывает свой участок, вырывает с корнем бурьян и сажает картошку.

«Она привыкнет, приживется, — говорит мама. — Ведь и человек не сразу привыкает».

Но если судить по маме, то картошка не приживется здесь никогда. Нашу маму все время тянет в долину. Я так думаю, потому что хорошо помню, о чем мне рассказывает мама, когда мы остаемся одни. Знаю и то, что она целое лето мечтает о том, как на праздник поминовения поедет в Бенюш на кладбище.

А картошку мама сажает для того, чтоб ей было здесь немножко повеселей. Ведь, говоря по правде, пользы от этой картошки никакой. На посадку нужны два мешка, а в прошлом году, когда мама собрала самый большой урожай, она накопила всего два ведра. И то картошка была такая маленькая, что ее можно было варить только в мундире. «Здесь какое-то недоразумение, — говорил тогда отец. — Я не видал, чтобы она цвела. Ты, случайно, не из подвала ее притащила?»

Потому-то он так и удивился, когда увидал белые цветочки. А может быть, картошка действительно привыкает. Лишь бы ее не задушили сорняки. Мы с Йожо принялись вырывать с корнем сорняки, чтобы они не добрались до самой середины и не заглушили картофель в цветку.

— На будущий год поставлю здесь загородку, — злился Вок, — Сплету из лыка такой плотный плетень, что через него не прорвется даже самый мелкий сорняк!

— И я сплету, — сказал я. — Половину ты, половину я.

Мне, правда, неясно, где мы возьмем столько лыка, но Вок это наверняка знает. Я пройду с ним хоть пять километров, ведь где-нибудь мы лыко и найдем.

Отец полез на косогор взглянуть на малину. Мы с Воком продолжали прополку и вдруг с самого краю увидели еще два картофельных цветка. Их совсем прикрыл старый, отвратительный лопух. Мы вырвали его с корнем и затоптали в грязь.

— Привезу-ка я от Рыдзиков навоза, — разозлился Вок, увидев, какая глинистая здесь земля.

— И я привезу, — ответил я.

Только я не совсем ясно представляю себе, как мы этот навоз повезем. Машины у нас нет, и лошади нет. Только две тележки. Или, может быть, Вок запряжет в тележку Стража и Боя? В ту самую, на которой мы учили их возить тяжести, когда сами были маленькими. Не думаю, что отец разрешит нам возить навоз в автомобиле. А ведь мог бы. Ведь «лимон» уже старенький, и если б мы закрыли сиденье оберточной бумагой, то могли бы нагрузить его навозом. Я сказал об этом Воку.

— Не сходи с ума, — пробормотал он.

Он не любит лишних разговоров. И наверняка уж придумал, каким образом доставить сюда навоз.

Вдруг мы увидели маму — она шла через мостик. Мама торопилась и была очень красивая. В воскресенье, когда она собирается на свое картофельное поле, то надевает серое платье с белым воротничком, а волосы собирает в большой тугий узел, а не заплетает в косы и не скалывает на затылке, как обычно, когда работает на кухне. Габуля уцепилась за ее юбку. Ведь наш мост — это всего-навсего две дощечки. Я закричал и хотел броситься им навстречу.

— Не дури! — зашипел Йожо. — Хочешь, чтобы они испугались и свалились в воду?!

Доски и вправду переброшены высоко над ручьем, а из воды торчат огромные камни. Но я-то прекрасно знал, что Йожо просто не хочет, чтобы я первым рассказал маме о картофельных цветах. Я остановился, а когда они подошли совсем близко, показал маме три цветочка, остальные я оставил Йожо.

Мама очень обрадовалась, стала рассматривать цветы и говорила, что не позже чем через неделю зацветет все поле.

Лично мне очень хотелось этого.

— Подойди сюда, Тереза, — позвал ее отец с косогора. — Ну-ну, иди! И вы, ребята, идите!

Мы взобрались вслед за отцом на крутизну. В нескольких шагах от себя он велел нам остановиться.

— Я всегда говорил, что картофель так высоко в горах выжить не может, — сказал он торжественно, — что его задушат растения, привыкшие к местному суровому климату. Я говорил так?

Ну конечно, говорил. Каждый год раз по сто.

— Я смеялся над мамой, что она навязывает горам картофель, как мне пирожки с маком? Смеялся.

Конечно, смеялся, да еще как!

— Пеки, мать, маковые пирожки! — захохотал он вдруг. — Вечером все уничтожу. И я тебе покорюсь, как покорила тебе природа.

Он отвел рукой большой малиновый куст и показал нам раскидистую картофельную плеть, богато расцветшую белыми цветами. Она росла в нескольких метрах от поля!

— Да, плохо я думал о бенюшском картофеле! — воскликнул отец. — А он, оказывается, отважный боец. Косогор на него шел войной, а картофель ему сопротивлялся. И вот вам результат!

Мы рассыпались по косогору и действительно нашли здесь еще много цветущего картофеля. Мама смеялась, а отец продолжал произносить речи:

— Трусов природа уничтожает, но храбрецов умеет оценить. Горы приняли твои труды, Тереза! Поле они, может, и задавят, но бенюшскому картофельному вторжению противостоять не смогут.

Было очень смешно, когда отец сочинил рассказ, как через лет сто ученые-ботаники станут ломать себе головы, докапываясь, откуда на такой высоте взялся картофель, как мог сюда попасть из самой Америки этот выведенный индейцами клубень!

Через сто лет картофель обязательно разбредется по всем Низким Татрам, и никто не будет помнить, что когда-то под Шпрнагелем его посадила Тереза Трангошова, которая тосковала по родным бенюшским полям.

Мы очень смеялись, а потом задумались.

— Иезус Мария! — схватилась вдруг мама за голову. — У меня пирог в духовке!

Она хотела бежать бегом, но отец удержал ее за руку.

— Не станешь же ты из-за пирога ломать себе ноги, — сказал он тихо. — Сгорит так сгорит! Кухню проветрим, а к чаю подадим хлеб с маслом.

Вообще-то такие вещи не в его правилах. Он очень строго следит за порядком. И слушаться его должны мы все, и мама тоже.

Мы шли домой медленно, все вместе. Еще в лопуховых зарослях мы почувствовали запах сгоревшего пирога.

— Сначала заполонит своей картошкой все Низкие Татры, а потом еще выкурит отсюда все зверье, — смеялся отец. — Вот это называется преобразование природы! \* \* \*

Не могу понять, что случилось с нашей кошкой Жофией. Она совсем перестала охотиться. Живет исключительно на домашней пище. Однако это еще не значит, что наша Жофия труслива. Тот, кто видел, как она рыщет в лопухах, кто, как я, мог видеть ее часовую схватку с рассвирепевшей змеей, поймет, что отказаться от охоты ее могла заставить лишь очень серьезная причина.

И если бы только от охоты! Вот уже целый месяц она вообще никуда не отлучается из дому. Иногда вдруг побежит по направлению к лесу, но метрах в двух от ледника замрет, постоит с поднятой лапкой, помяукает и возвращается обратно. Она попыталась идти и в другом направлении — вдоль поросячьего загона, через волейбольную площадку, но это всегда кончалось одинаково — Жофия поворачивала домой.

Я внимательно изучил окрестности. Не начертил ли кто-нибудь вокруг дома волшебный меловой круг, за который не смеет выйти наша бедняга Жофия. Но ничего не обнаружил.

— Уж не больна ли она? — сказал я Юле, когда снова услышал, как Жофия жалобно мяучит под печкой.

— Не приставай! — фыркнула Юля. — Вот тебе тряпка, вытирай вилки.

Подумаешь, какие господа эти туристы — не желают есть сосиски руками!! Сразу же начинают ворчать и требовать заведующего.

Ну позови заведующего, и дело с концом. Я спрятал руки за спину и попятился к двери. Но тут я заметил, что Юля откладывает тряпку, поправляет на себе беленький фартучек, и с ее лица быстро исчезает злая мина. Теперь она, честное слово, стала похожа на принцессу в своей белой наколке в волосах.

— Ах, — сказала она изменившимся голосом, — добро пожаловать! А я уже думала... Мы думали... Как вы попали к нам посреди недели?

Я оглянулся. В кухонных дверях стоял тот самый гражданский летчик из Братиславы, что недель пять тому назад увез от нас в коробке из-под сахара трех Жофиных котят. Он сверкнул своими белыми зубами и тут же начал морочить Юле голову, будто встретил в небе на своей линии, как раз над нашим домом, гигантское марсианское летающее блюдце, посадил на него свой «ИЛ», а сам спустился на парашюте посмотреть, все ли еще Юленька такая красивая.

Заметив в кухне меня, он подмигнул, потрепал меня по плечу, притянул к себе, и я уткнулся носом в его кожаную пилотскую куртку. Потом я оставил их одних и стал поджидать летчика возле дома. Мне хотелось с ним поговорить, потому что кое-что показалось мне странным. Ха-ха! \* \* \*

Габуля сидела на Марманце, на самой его верхушке. Я подошел к ней и сделал вид, будто сильно удивлен. Ведь для нее Марманец все равно что для альпиниста Герлах. А между прочим, и на самом деле Марманец — необыкновенный гранитный, огромных размеров валун. (Марманцем называли его мы.) Конечно, он скатился вниз и попал к нашему дому не просто и не как-нибудь. Не иначе, это великаны играли в кегли. Я поспешно выразил Габуле свое восхищение и помог ей спуститься вниз, чтобы она не мешала мне, когда придет летчик.

Ну и долго же я его ждал! Туристы уже давно расправились с сосисками, вылезли на террасу. Они стояли там и поругивали обслуживание, когда к ним выбежала Юля с бутылками пива (конечно, без кружек) и стала звать их обратно в столовую. Летчик сбежал по боковой



лестнице и направился ко мне.

— Ты только посмотри, — заговорил он с ходу, — как меня ваша Юленька исцарапала!

Ха-ха! Юленька, говорит! Наша Юля может отпустить оплеуху даже самому главному инженеру из Брезна, но летчиков она не трогает. Особенно этого! Уж его-то она не ударила бы ни за что на свете, не то чтоб исцарапать. Она мне о нем рассказывает, когда мы моем чашки, и потому я знаю, что она бы с большим удовольствием завернула его в одеяльце и носила на ручках, если бы он, конечно, не был такой здоровый. А царапины я заметил сразу, как только летчик появился в нашей кухне. Мне показалось, что царапины как-то связаны с нашей Жофией и с тем, что я о ней думаю. Когда летчик подошел, я прямо спросил его:

— Как там у вас в Братиславе поживают наши котята?

Знаете, я ведь очень этим котяткам завидовал, что они живут в Братиславе, где я никогда в жизни не был. Но главное, мне хотелось знать, правильны ли мои предположения относительно Жофии.

— Ну, братец, — стал выкручиваться летчик, — они сделали огромную карьеру.

«Он бросил их в Дунай, — мелькнуло у меня в голове. — Конец. Из такой реки еще никогда ни один котенок не выбрался!»

Я уже больше не завидовал котяткам.

— Что они вам сделали?! — воскликнул я, потому что мне их было очень жалко.

— А ты сам не видишь, что? — повернул ко мне летчик свою исцарапанную физиономию и оскалил свои противные белые зубы.

— Подумаешь! — завопил я. — Меня Жофия царапала раз сто, не меньше, а петух выклевал глаз... почти что... я мог ослепнуть, а когда Страж был еще совсем маленьким, я ему разрешал себя кусать, когда он захочет. Вы должны были привезти их обратно, если у вас на животных нервов не хватает!

— Ты что плетешь? — обиделся летчик.

Он еще обижается!

— Ты б только поглядел, что они вытворяли, — начал он втолковывать мне. — Когда я возвращался домой, то целый час искал их, но чаще всего не находил; я оставлял им еду посреди комнаты, и, чтоб они поели, мне приходилось уходить из дому. Когда я возвращался, миски стояли пустыми, а котят и след простыл. И только по разодранным занавескам я мог судить, что, когда меня нету, они рассиживают на карнизах. Однажды один из этих негодников три дня провел в шкафу. И только в воскресенье, когда я надел свой плащ «болоню», из рукава выпал котенок. Посмотри, как он меня цапнул! — показал мне летчик руку.

Слушал я, слушал летчика и понял все про нашу кошку Жофию. И чем дальше, тем больше я жалел, что мы отдали наших котят этому городскому трусу! А еще летчик гражданской авиации!

— А это украшение знаешь откуда? — показал он на щеку. — Это я отважился взять собственную шляпу с вешалки и надеть ее на голову, когда в ней изволил спать не замеченный мною котенок. Посмотри на результат. Интересно, не правда ли?

Я так весь и просиял и внимательно осмотрел его лицо. Чистая работа! Толковая! Не хуже,

чем индейское украшение! Я прямо-таки видел, как серый полосатый котенок на лету бороздит физиономию летчика своими острыми коготками.

Эх, Жофия, Жофия! Где твоя голова! Разве ты не знаешь, куда надо прятать детей!

— Наконец я не выдержал, и однажды мы с приятелем изловили их и, основательно исцарапанные, запихнули в мешок и отнесли...

В мешок, трусы несчастные!

— ...в зоологический сад. Теперь на них любят посетители — они сидят в клетке для диких кошек. Так вот знай: вся эта тройка — обыкновенные дикие кошки! А теперь валяй выкладывай, — схватил он меня за вихор, — но только чистую правду. Где ты их взял?

Я онемел от радости! Наши котята живы, хотя и сидят в клетке. Я согласен, что тяжело жить в одной комнате с тремя дикими кошками.

— Откуда я их взял?.. — спросил я нарочно медленно, потому что заметил нашу Жофию, выходящую из кухни. Я выждал, пока она уселась на разогретой солнцем ступеньке, зажмурила глаза и задремала. — А вон их мама.

Летчик непонимающе глядел на Жофию. Она сверкала на солнце, как самый белый снег, и только черные пятна на спине отдавали синевой.

Я сделал вид, будто мне все безразлично, чтобы летчик не мог по моему лицу понять того, что я уже точно знал. Да только он был не глуп, этот летчик, он засмеялся и сказал:

— Ясно! Значит, это сударыня-матушка. А отец в один прекрасный день сидел в засаде где-то в лесу на дереве, глаза у него сверкали, словно фары, он беззвучно выпускал страшные когти и поджидал... И вдруг видит — бредет кроткая красавица. Он заурчал утробным голосом — ведь он был диким хищником, — пружинисто соскочил вниз и закружил вокруг красавицы, угрожая и зазывая. Он обхаживал ее до тех пор, пока ваша милая Жофия не оказалась в его теплой норе.

— Это, наверное, случилось весной, — перебил я летчика. — Мы ее тогда не видали по целым неделям, а потом она явилась и через четыре дня притащила из сарая котят.

Эх, Жофия, Жофия! И почему ты только не умеешь говорить! Положил бы я на колени подушечку, тебя бы посадил на нее, ты бы мне рассказывала, а я бы по вечерам писал книгу про джунгли («Жофия среди диких кошек»). Сколько бы мы денег заработали!

А пока что у нас с тобой кукиш с маслом.

Ей там, наверное, было очень интересно. Ведь не просто так Жофия каждый день жалобно мяучит под печкой. Она решает, что выбрать: нашу кухню или лес? Ленивую, беззаботную жизнь или прелести свободной жизни?

Поживем — увидим. \* \* \*

Подъехал розовый автомобиль «Спартак-БА-22209», и тут я сообразил, что сегодня первое августа. С тех пор как я себя помню, а это значит лет девять, самое маленькое, этот «спартак» первого августа обязательно приезжает к нам. Когда-то он был коричневым, как шоколад, а теперь стал розовым, как Габкины штанишки. Второго такого автомобиля я еще в жизни не видел. И второго мальчишки, который бы так любил природу, как Владко, приезжающий на этом «Спартаке», — тоже. И сейчас он чуть ли не на ходу выскочил из машины, раскинул руки, глубоко вздохнул и сказал:

— Приветствую вас, леса и горы! От всей души я вас приветствую!

Владко сказал не совсем так (я знаю, что это слова из какого-то стихотворения). Владко сказал это немножко иначе, но очень похоже. Красиво! Прямо зло берет, что у меня не хватает ума на такие красивые слова. Чем красивее кто-нибудь говорит, тем меньше я его понимаю. А если я чего-нибудь не понимаю, то не могу запомнить.

Когда Владко был маленьким, его мамочка учила своего сыночка «обожать природу». Идут они гулять, а она ему подсказывает: «Ну что ты скажешь елочке, Владко?» — «Доброе утро, деревце!» — говорил Владко. Или: «Помаши ручкой птичке», и Владко доставал носовой платок и махал ястребу. Дюмберу он говорил «спокойной ночи», а солнышку посылал воздушные поцелуи. Телячьи нежности, и все тут!

Я рассказал про это Юле.

«Ты просто завидуешь ему, что он такой воспитанный мальчик, — высмеяла меня Юля, — да и поумнее тебя».

Наверное, так оно и есть. Но смеяться надо мной ей не следовало. Могу поспорить, что если б я жил в Братиславе, то был бы еще умнее, чем Владко. Завидовать-то я ему не завидую, просто мне все это кажется глупым.

А может, и не глупым, а просто становится не по себе и неловко.

Как-то раз, когда он разговаривал с белкой, которая сидела высоко на макушке дерева, я сказал ему:

«Если хочешь увидеть белку вблизи, не зови ее, а спрячься подальше, не двигайся и не дыши. Может быть, она спустится. Какой у нее хвост! Ты такого в жизни не видал!»

Его мамочка злобно зыркнула на меня, смерила взглядом, и я поспешил уйти. А когда они скрылись с моих глаз, то я взял и швырнул в дерево еловой шишкой. Белка перемахнула на конец ветки, перескочила на другое дерево и исчезла.

Я успел еще услышать, как мамочка говорит своему Владко: — «Попрощайся с белочкой-красавицей». И Владко кричит: «До свидания, до свидания!»

Вот балда!

Впрочем, скорее бедняга.

А потом случилась такая история. Я сооружал водяную мельницу. Это у меня такая игра. Всегда, когда Йожо меня не видит, я строю на ручье водяные мельницы (он их разоряет, говорит, что они мешают рыбе). Делаю я, значит, свою мельницу, как вдруг является Владко и во все горло орет, стараясь перекрыть шум ручья: «Добрый день, ручеек!»

Я знаю, что до таких нежностей я не дорос умом. Но мне стало противно и почему-то стыдно, что мальчишка со всеми здоровается, а ему никто не отвечает. Мне почему-то вовсе не хочется ни с кем здороваться. Когда я знаю, что могу столкнуться с туристами, то лучше даю кругалю через крапиву, только бы с ними не поздороваться. А бедняга Владко, не жалея глотки, даже ручью кричит «добрый день».

Ну и вот, возьми я да и ответь ему вместо ручья. Вежливо так отвечаю: «Добрый день, Владко».

«Я вовсе не с тобой здороваюсь, — разозлился Владко. — Слышишь? Не с тобой!!»

Тут хватает он камень и запускает в мою уже совсем готовую мельницу. Я только-только успел отскочить.

Тогда я в три прыжка достиг берега. Владко я, конечно, поймал сразу, ведь он и бегать-то совсем не умеет. И вдруг я замечаю его мамочку. Сидит она на камне и плетет венки. Я оставил Владко в покое и пошел прочь. Только слышу, как он с ревом ей на меня ябедничает.

Пижон городской, братиславский! Тоже мне, любитель природы!

Я мотался по двору до самого вечера. Загнал кур, закрыл поросят и принялся под Марманцем ладить скамейку. Я, в общем-то, только доски носил и примерял к Марманцу, а забить ножки у меня еще не хватает силенок. Но лечь спать без ужина у меня тоже не хватило силы воли, и это стало для меня роковым.

«Я тебе покажу, — схватил меня отец, как только я вошел в кухню, — швырять камнями в наших дорогих гостей!»

Ну и ну, ужаснулся я. Швырять камнями! Это я-то швырял?

«Вымыть руки, — приказал отец, — и причесаться!»

Я хотел хотя бы доесть свой ужин, но отец уже не выпустил меня из рук и потащил в одиннадцатую комнату извиняться. Да только когда мы уже очутились там, я уперся. Я знал, что это я могу себе позволить. В присутствии туристов отец подзатыльников не дает. Я молчал и не издавал ни звука. Напрасно Владкина мамочка мне помогала: «Ну, что ты скажешь Владко?» — «Ничего не скажу!» — упирался я. Теперь-то я уж ничего не мог сказать, если даже хотел бы. А я и не хотел вовсе.

Владкина мамочка пошла к своим чемоданам, продолжая упаковывать вещи. Владко с победоносным видом сидел на постели, а его отец курил возле окна.

Вот так да! Дело принимало серьезный оборот. Мой отец не знал, что со мной делать. Мне и самому уже было противно, и я бы и сам себя с удовольствием отлупил. Но, как назло, я не мог выдать ни слова.

В последнюю минуту отцу пришла в голову счастливая мысль. Он-то ведь меня хорошо знает. И знает, что я не могу говорить, но двигаться могу, даже когда вот так упрусь. Он подтолкнул меня и сказал:

«Поддай-ка руку Владко! Мужчины мирятся, пожав друг другу руки, без долгих разговоров, они не бабы. Ну! Давай, за дружбу!»

Я сделал три неловких шага и подал Владко руку. Но он еще колебался, этот осел. Да только Владкин отец тоже подтолкнул своего наследника. Его отцу, наверное, хотелось, чтобы упаковка чемоданов прекратилась.

С того времени мы с Владко стали друзьями. Ха! Мне еще тогда и шоколадку дали. Можете сами ее лопать, ябеды несчастные!

На лестнице отец, конечно, отвесил мне подзатыльник. Да только мне все уже было безразлично.

Так началась наша дружба. Самые лучшие отношения у меня с Владко бывали те одиннадцать месяцев, когда я о нем ничего не знал и не слышал. Но первого августа к нам всегда приезжал розовый «Спартак».

Три дня Владо до невозможности действовал мне на нервы. Как в прошлом году и в позапрошлом. Все время он «обожал» природу. Он был просто вне себя от восторга.

Владо обожал природу, а его с первого взгляда начал обожать один пес, про которого я еще пока не рассказывал, да и сейчас не знаю, что о нем сказать. Я не знаю, как его зовут, чей он и что умеет. Однажды утром я нашел его скулящим от голода перед нашим домом. Мы его покормили, и он не захотел уходить. Страж и Бой первые поняли, что он глуп, как пень, и трудно дожидаться, что он поумнеет. Поэтому ему сразу было все позволено. Даже есть с ними из одной миски, а на такое не решится никто в целом мире. Пес и спал-то, притулившись к Стражу. (Как-то раз одна расхрабрившаяся кошка рискнула сделать это, и от нее осталось мокрое место.) А в остальном этот пес был тих и скромен. А что ему еще остается? Если он и росточком невелик, и не взял ни умом, ни красотой.

Вот только наша мама не верит, что этот пес дурак. Она говорит, что дураки не бывают скромными. Но я этого не знаю.

Первого августа, как только пес увидел Владо, он словно одурел. Владо еще приветствовал горы и леса, а он уже улегся у его ног, морду положил на ботинок, что у собак, наверное, значит полное подчинение и рабство навечно.

Когда Владо закончил свои приветствия и заметил у своих ног пса, он побледнел, но сдвинуться с места не отважился. Я свистнул, подзывая собачонку, — как бы чего не приключилось и дорогие гости опять не повернули свой автомобиль и не удрали. Песик меня не послушался. Тогда Владо собрал всю свою волю в кулак и сладким голосом сказал собаке несколько слов. Я даже перепугался, как бы пес не растаял на месте от счастья. Он вился у Владо между ног, подавал по очереди свои нескладные лапы, тоненько повизгивал и пытался облизать его руку. Ничего подобного я в жизни не видел. И наверное, не только я. Весь дом молча смотрел на эти проявления счастья и любви, пока Владо не возгордился окончательно. Я был настолько ошеломлен, что даже спросил, не его ли это собака. Вот уж действительно дурацкий вопрос. Как бы мог этот несчастный пес добраться пешком сюда из Братиславы!

С того дня пес не оставлял Владо даже ночью. Только спал он перед его дверями, потому что в комнату собаку не впускали. (И это понятно: у него было полно блох.) Целый день они играли вместе. Владо учил его всяким штучкам и вообще делал с ним все, что хотел. Я просто не мог себе представить, что будет с собакой, когда Владо уедет. Наверное, он пешком пустится в Братиславу по следам розового «Спартака». И где-нибудь на шоссе трагически погибнет.

Но напрасно я ломал себе голову. Все получилось совсем по-другому.

Мы играли в зарослях лопуха. И все собаки, конечно, с нами. Сначала мы хотели, чтобы собаки были разбойниками, а мы их преследователями. Но ничего из этого не вышло. У собак не разбойничий характер. Пришлось нам превращаться в разбойников, потому что собаки даже прятаться не умеют. Когда мы их настигали, они останавливались, поджидая нас, и игре был конец.

Тогда мы созвали всех собак вместе и объяснили им, что мы будем бандитами, а они полицейскими. Сенбернары всё поняли, а этот пришлый шустрик все рвался к своему Владко. Я хлопнул его по лапкам и крикнул, что мы настоящие бандиты и что собаки должны ловить нас по-настоящему, если не хотят, чтоб мы их всех перестреляли из рогаток.

— Меня догоняй, меня, балда, — закричал я ему, — если уж своего Владо ты так любишь! Оставь свою любовь на потом!

Договорившись, мы с дикими воплями пустились наутек. Собаки с лаем за нами. Я петлял «по прерии» до тех пор, пока сенбернары меня не поймали. Они навалились на меня, прижали к

земле, и я стал пленником. Когда они наконец перестали сопеть мне в уши, я услышал, как Владо всхлипывает и ругается. Он показал мне ногу с отпечатками тонких зубов. Крови не было.

— Цапнул меня, свинья! — кричал он злобно.

Пес стоял рядом, ничего не понимая, совершенно окаменев.

Черт побери, таких идиотов мы любим! Да будь моя воля, я бы дал ему что есть силы по уху!

— Да брось ты, — сказал я Владо вежливо; хотя он теперь и не ябедничает, но осторожность не помешает. — Ничего особенного он тебе не сделал. Настоящие полицейские тебе бы не так надавали!

Но к игре мы интерес уже потеряли и пошли домой. Мы трое — нормально, а этот нудный Владо — прихрамывающая. Его верный пес был опечален, что господин его не замечает. Хорошо еще, что он не ругал его. И не бил.

«Не такой уж все-таки Владо мелкий человечиска, как мне казалось, — подумал я. — Пес его конечно немного разозлил, но с него все быстро сошло».

Да только я здорово просчитался.

После обеда Владо вышел из столовой, будто на прогулку. Псина в двух метрах за ним; он вертел хвостом, переминался с лапки на лапку и всячески подлизывался.

Около ледника Владо обернулся к нему.

— Ну что ты, дурашка! — сказал он своему приятелю нежным голосом. — Чего не подходишь? Посмотри, что я тебе принес!

Пес, вне себя от счастья, подбежал. Но в ту же секунду, жалобно взыв, пустился наутек. Он стукнулся головой о ледник и повалился на землю в страшных корчах. Зарывшись головой в траву, он бил по ней лапами и плакал, как человек. Я мгновенно подскочил к нему и увидел, что вся голова у него в чем-то красном. Нет, это была не кровь. А красный перец! Наш собственный красный перец из наших перечниц в столовой!

Ах ты гнусный хорек! Что придумал! Как коварно отомстил собаке. Такого коварства не придумали бы и сто змей!

Я выкупал собачонку в бассейне и опустил на землю, чтобы убедиться, что она не ослепла. Сначала было похоже на это. Но потом, когда слезы смыли весь перец, пес подошел ко мне, и я понял, что он видит нормально.

Перед ужином пес встретил перед домом Владо и, глядя на него, остановился на расстоянии метров пяти. Владо начал звать его и показывать пустые руки.

Воображает, подлюка, что если у него нет характера, то и у других его нет.

Я наблюдал за ними от Марманца.

— Если собака пойдет к нему и станет подлизываться, — сказал я Габке, — я эту паршивую псину так излуплю, что он этого до смерти не забудет.

— Не лупи... — умоляла Габка.

— Излуплю, — упирался я.

Но только пес, хоть и был глупый, но свой характер показал. Он не двигался с места, а только смотрел на Владо. Лапки стояли на месте, а глаза смотрели так тоскливо! Я его понимаю. Пес прав, что грустит. Дело совсем не в том, что в глаза попал перец. Дело в предательстве и обмане.

В эту ночь пес не спал рядом со Стражем, а утром не явился к миске с едой. Не пришел он и вечером, и тогда мне стало ясно, что мы его больше никогда не увидим.

Вечером, когда осы уже уснули, я пробрался на чердак, взял целое осиное гнездо и завернул его в тряпку. А потом швырнул через окно прямо в комнату Владо.

Добрый вечер, осы! И доброй ночи!

Утром все семейство встало искусанным.

Но на этот раз Владо не пикнул. \* \* \*

Я пошел в нашу комнату проветрить одеяла. Конечно, не по своей охоте. Это меня так воспитывают, чтоб я не протух от лени, когда на дворе идет дождь. Или чтобы не кончил свой век на виселице, ибо лень — мать всех пороков мира. Это всё мамины поговорки. А я уже сто раз объяснял ей, что гангстер еще как наработается, пока ограбит банк. И сколько еще потом намучается, пока потратит с таким трудом добытые деньги! Поэтому грабеж, например, не может быть результатом лени. Мама смеялась, но мне это не помогало. То, что мама усвоила в Бенюши, она не перестанет повторять, даже если над ней будут смеяться люди почище меня.

Вот поэтому я над ней и не смеюсь. Она всему этому верит и хочет, конечно, уберечь от виселицы родного сына.

И потому, когда идет дождь и я не могу носиться по улице, меня заставляют натирать до блеска дверные ручки, чистить ножи, помогать печь пряники или подметать чердак.

Сегодня мама дала мне задание трясти одеяла. Хуже этого ничего быть не может. Я открыл окно, улегся на ближайшую постель и принялся читать папину книгу «И один в поле воин». Отсюда слышно, когда кто-нибудь выходит из кухни в коридор; тогда я быстренько спускал из окна одеяло и принимался изо всех сил трясти его, чтобы все видели, что я не ленюсь, а усиленно сопротивляюсь виселице. Читать мне это не мешало. Книгу я знаю почти наизусть. И читаю вовсе не для того, чтобы узнать, что будет потом. Это я знаю не хуже, чем сам писатель. Я читаю вот почему: я представляю себе, как было Гольдрингу грустно и одиноко вечером или ночью, когда он не мог уснуть. Он, наверное, иногда даже плакал, что так одинок среди всех этих волков, гиен и гестаповских живодеров. И не может их расстрелять, а должен с ними обходиться вежливо и деликатно. Долгие годы он не смел никому сказать, как ему живется. Не мог даже выпить, чтобы все позабыть, как тот честный немец Люц. Я читаю снова и снова и думаю, смог ли бы все это выдержать я. Нет, не знаю, не знаю... Может быть, когда стану постарше, скажем, как наш Йожо. Йожо и теперь может выдержать всё. У него железные нервы, и он, конечно, никогда, никогда не распустит нюни.

Я задумался и не сразу услышал в коридоре шаги.

— Дюрко, — кричала мама, — ты что там делаешь?

— Пыль выбиваю, мама, — вскочил я и схватил с Йожкиной постели сложенное одеяло. Из-под него выпало что-то и шлепнулось об пол. Но я уже был возле окна и тряс одеяло.

— Выбивай, выбивай, сынок! — похвалила меня мама. — Не оставляй ни пылинки, тогда и спать будете крепко. Габуля тебе сейчас яблочко принесет.

— Спасибо, мама, не надо! — поспешно ответил я.

Больно нужна мне Габа с ее чириканьем. Я рад, что могу побыть хоть немножко один. Если уж не в поле, то хотя бы в своей комнате номер пятнадцать. Я сложил одеяло, положил его на постель и только собрался снова углубиться в чтение, как вдруг заметил на полу черную тетрадку. Я поднял ее. На обложке никакой надписи. Внутри знакомый почерк.

Сначала мне показалось, что это школьное сочинение Я прочел две строки: Хочу по всем морям скитаться, Во всех прекрасных дам влюбляться.

Ну и ну! А я-то думал, судя по первой строчке, что это писал мой брат Йожо. Но что касается второй, то этого бы он не написал. Наш Вок дамами не интересуется. А прекрасных и вообще ненавидит. Когда отец велит ему вынести или внести какой-нибудь даме чемодан наверх или смазать лыжи, он это, конечно, делает, но выражение лица у него при этом ужасно кислое, и я знаю почему. Однажды одна такая прекрасная дама в сиреневых брючках погладила его по голове да еще хотела потрепать по щеке. Вок вырвался и с тех пор ни с одной женщиной не здоровается, разве только если это какая-нибудь старушка из Праги. Я еще раз прочел стихи про дам. Дальше шло: Хочу увидеть Рим седой, Услышать в тундре волчий вой, Пройти пешком по Кордильерам, По прериям скакать карьером И тигров в Индии ловить. А потому — копить, копить, Копить во что бы то ни стало: 32 кроны — это мало\*.

Я остолбенел. Значит, это все-таки писал Йожо. Ведь именно он к концу учебного года накопил 32 кроны из тех карманных денег, что отец посылает ему в Штявницу.

Я совершенно запутался. Захлопнул тетрадку и хотел было уже дальше читать «Воина», как вдруг подумал, что у слова «мало» стоит звездочка. Звездочка в книге означает сноску, когда что-то надо объяснить. Может быть, эта звездочка объяснит мне все, что мне кажется совершенно непонятным и диким?

Я нашел ее и объяснение к ней в конце страницы; там было написано: «\* Конец стихотворения переделаю в зависимости от того, сколько летом заработаю».

Итак, звездочка объяснила мне кое-что.

В этой тетради писал наш Йожо. Железно. Ведь это он с первого августа стал зарабатывать деньги. Но звездочка все же не смогла мне объяснить одну вещь, которой я совершенно, ну совершенно не могу понять! Я говорю не о путешествии по свету и не о звездных красотах, а о прекрасных дамах.

И еще одна тайна: в этой тетради были стихи, а вовсе не школьные заметки, как я думал, и не дневник или какие-нибудь там секреты. Ведь стихи — это не секрет. Их печатают в газетах, и в книгах, и в журналах. В общем, почти всюду. Стихи предназначены для людей, чтобы люди их читали. И я стал читать дальше: Мир шумит. Опутанный кабелями, Оплетенный воздушными линиями, Ошалевший от грохота грозных моторов И грибов ядовитых. Дрожит Земля, Оставляя безопасную, как просёлок, эклиптику. Стонет мир. Не впадай в безумье. Земля, Ты ведь жизнь подарила людям, Которых разбудит это утро. Когда ты отвернешься от Солнца И окунешься в темный кувшин глубин Вселенной, Плачут цветы, серны, дети. Тихо плачут рыбы в грохоте вод, в своей стихии.

По спине у меня пробежал мороз, я передернул в ознобе плечами. И увидел, как под закатанными рукавами мои руки покрываются гусиной кожей. Если это стихи, то они просто безобразны. Я всегда считал, что стихи складывают только о красивых вещах, что это такое чириканье, будто клесты щелкают среди кустарника. В школе мы тоже учили стихи. Про что, и не вспомню. Пожалуй, все больше о родной стране, товарищах и так далее. А потом еще поздравительные. Я всегда старался запомнить в строках только последние слова, которые друг на друга похожи. Когда я их выучивал, то целые строчки во время ответа всплывали у



меня в голове, как галушки в воде. Только запомнить при этом, о чем идет речь, совершенно невозможно.

В стихах моего брата Йожо я отдельные слова не замечал, но то, о чем они говорили, было страшным.

Я уже начинал бояться, честное слово! Если уж рыбы плачут, значит, дело плохо, потому что животные всегда всё скорее чувствуют, чем человек.

А может, Йожо все выдумывает!

Но ведь про кабели, самолеты, автомобили, ракеты и атомные взрывы — это все правда! Когда туристов бывает немного, нам разрешают в столовой смотреть телевизор. И из передач я знаю, что все это правда. Может быть, Йожо и придумывает, но не все, а только кое-что! Кое-что берет из настоящей жизни, а кое-что выдумает. Ведь в стихах можно фантазировать! Я, например, сомневаюсь, чтобы рыбы умели плакать.

Но и без этих плачущих рыб мне было страшно.

А ведь это еще не конец.

Я снова вернулся к рыбам. После них стояло: Но я громко кричу: прекратите! Довольно! Спит Габуля. И стихия ее — тишина. Я приказываю солнцу: явиться утром в 4.45. И лучом щекотать в носу у Дюры, И у всех маленьких мальчишек, Чтобы не спали долго, негодники, Чтобы вовремя проснулись птицы И миру смелость принесли.

Я вскочил с постели и все стоял, стоял и стоял посреди комнаты. В голове у меня мелькали неясные, непонятные мысли.

Бояться я перестал, но мне вдруг стало очень грустно. Сначала я не знал почему, но потом понял, что из-за Габули и из-за Йожо. Из-за Габули потому, что она у нас еще такая маленькая. И ей могут угрожать всякие страшные вещи. А из-за Йожо потому, что он такой большой и сильный и может приказывать даже солнцу. И все это из-за нас, чтобы никакое зло не угрожало ни Габуле, ни мне, не грозило детям, цветам и животным. Мне было грустно, и я чуть не ревел. Потому что в обычной жизни Йожко вроде не так уж и любит нас, а вот в этих стихах — очень. В этих стихах он любит нас больше всего на свете.

Когда я читал эти строки, я вдруг почувствовал себя маленьким, хотя я вовсе не маленький, а для своего возраста и вовсе даже длинный. Я восхищался своим братом, потому что он не испугался охватившего мир ужаса, он прикрикнул на него так же, как однажды, когда мы брели зимой в темноте из школы и на нас напала стая одичавших собак. Я ревел от страха, и слезы замерзали на моих щеках. Но Йожо остановился и, крикнув на собак, стал швырять в темноту сначала свои галоши, а потом запустил портфелем. Когда псы поняли, что мы их не боимся, они отступили и дали нам пройти. Я и сейчас еще уверен, что это были вовсе не собаки, а самые настоящие волки. Я помню, как они скулили и выли в темноте.

Когда я читал стихи моего брата, я был таким же маленьким, как тогда зимой.

Но вместе с тем я чувствовал себя храбрым. Я сумел бы пойти против всех, кто захочет обидеть Габулю и других маленьких детей. Я знаю, почему Йожо написал, что птицы делают мир более смелым. Птицы ничего не боятся, они поют, даже когда в долине лежит густой туман, густой как молоко, и никто ничего не видит. И птицы ничего не видят. Они ведь тоже могли бы бояться, но они не боятся, а поют еще громче, чтоб придать смелости всем остальным живым существам.

И вот я стоял посреди комнаты и не понимал, как это один и тот же мальчик может быть

одновременно и грустным и счастливым, испуганным малышом и храбрецом. Я совсем запутался, и мне пришлось вслух назвать себя по имени, чтобы убедиться, что этот грустный и счастливый, испуганный и храбрый мальчишка — я! Потом я громко произнес имя своего брата. Йозеф Трангош, наш Вок, — поэт.

В эту минуту я стал еще и гордым.

Но тут же поскромнел, потому что сам-то я едва могу написать две фразы в рифму, а ведь это еще не стихи.

Наконец я сдвинулся с места, схватил все Йожкины одеяла и принялся изо всех сил трясти их, чтобы у мамы не было причины вспоминать про виселицу и чтобы хоть как-то отблагодарить поэта. Я ходил по комнате и топал, чтобы внизу в кухне слышали мои шаги. Я выбивал одеяла и складывал их. Но все время меня что-то мучило. Мне уже не хотелось слышать тихий шум дождя, я не мог больше лежать, лениво развалившись на постели.

Прибежала Габулька с яблоком и сразу же сунула свой нос в черную тетрадку.

— Исчезни, Габек, — сказал я ей вежливо. — Ведь читать ты еще не умеешь, значит, нечего зря совать свой нос.

Она огрызнулась:

— Это я-то не умею? — и заглянула в книгу. — Это «э», а рядом с ним «а».

Я взглянул в тетрадь, и кусок яблока остановился у меня поперек горла. Я быстренько пробежал глазами строчки: Печаль гнездится в кронах, И подползает черный змей. Чудовища одолевают, Из ослабевших рук выпадает меч. И звонит погребальный звон. Тебя со мною нет.

Я вырвал у Габки тетрадь из рук. Не хватало только, чтобы такие вещи читал пятилетний карапуз! У нашей Юли наверняка шариков не хватает. Надо же — учить такую малышню алфавиту!

— Беги скорее! Не слышишь, что ли, — начал я представление, — тебя Крампулька зовет!

К счастью, в этот момент Крампулька действительно раскудаhtалась во все горло. Габка забыла про чтение и выбежала вон. Крампульку она любит больше всех кур на свете.

Стихи были короткие и совсем не такие, как те два. Меня удивило, что наш Йожа все-таки побаивается, когда ночует в лесу один. Хотя все равно торчит там до самого утра. А я-то думал, что у него железные нервы. Когда перестанет лить дождь, влезу на дерево и поищу в его шалаше, нет ли у него там какой-нибудь сабли. Про погребальный звон это он все выдумал. Никакого звона у нас в горах не бывает. И в деревне тоже. В деревне вообще нет колоколов.

А последняя строчка не иначе, как про Яну из Ружомберока. Не хватало только нашей Габке это прочесть! Она, конечно, тут же кинулась бы к Йожке, начала приставать. Хорош бы я тогда был. Вока вообще нельзя ни о чем спрашивать, а уж про Яну и вовсе. Ох и засыпался бы я!..

Меня взяло сомнение, правильно ли я делаю, что читаю Йожкины стихи. Если бы он хотел, чтобы кто-нибудь их прочел, то отдал бы в газету, за это платят. Так ведь зарабатывать легче, чем на строительстве дороги. И я сразу понял, что, застукай он меня здесь сейчас, не миновать мне пары хороших затрецин, хотя вообще он нас с Габкой никогда не бьет.

Я решил поскорей покончить с этим. Вот вытрясу сейчас пыль из Габулькиных одеял и спрячу

тетрадку обратно, где была. Я возился с одеялами, а Вок все не шел у меня из головы. Каким же разным, может быть человек! Наш Вок учится хорошо, а люди думают, что он туповат, потому что Вок очень молчалив и почти совсем не разговаривает. И не только чужие люди, я и сам так про него думаю. Одна только мама так не считает. Но о том, что наш Йожо поэт, ей даже и во сне не снилось. Это мое открытие.

Я не знал, что и люди умеют маскироваться, как животные. Наш Вок — словно горный орел. Когда орел сидит, он похож на уродливый серый кусок гранита, но стоит ему раскинуть крылья и подняться к облакам, каждому становится ясно, что над горами парит царь пернатых.

Я отдал бы, кажется, миллион крон, если бы мог обо всем поговорить с самим Воком. У меня, конечно, этого миллиона пока еще нет, но я знаю, что даже если бы и был, мне все равно ничего не поможет. Он такой, наш Вок! Ему наплевать почти на все — кроме Яны. А эта противная девчонка вот уже три недели не пишет. Если бы от нее пришло письмо, то хоть один денек с Йожо можно было поговорить, как тогда, когда он взял меня с собой на Седло. Правда, и тогда он был не бог весть как разговорчив. Но все равно с ним интересно.

Да только эта дура не пишет. Все девчонки глупы, как гусыни, они меня не интересуют. Ругать я их не ругаю, но мне с ними до одури нудно. Мне нравится только Моника из «И один в поле воин», та, что помогла французским партизанам. Но только ее сбил гестаповский грузовик, когда она ехала на велосипеде по дороге, и она умерла.

С Яной я не знаком, но охотно бы с ней встретился и сказал все, что о ее персоне думаю.

— Мамуля, — крикнул я из окна, — сколько пробило?

— Двенадцать, — высунула Юля голову и бросила мне наверх что-то завернутое в бумагу.

Я поймал. Сырая картофелина! Потом ко мне взлетел кусок пирога, но его я не поймал. Прибежала Крамбуля, клюнула и принялась громко кудахтать, созывая цыплят. Медленно прошествовал Страж, рявкнул на квохтуху, цыплят словно ветром сдуло, а он деликатно заглотнул пирог.

Мы с Юлей рассмеялись: она внизу, я наверху.

— Значит, говоришь, двенадцать, наверняка не больше? — спросил я еще раз.

— Двенадцать ноль пять, — уточнила Юля. — Ты уже проголодался?

Еще чего, проголодался! Я просто хотел, знать, не бродит ли уже наш Йожо вокруг дома. Если двенадцать, значит, еще нет. С работы он приходит только в два.

Я снова достал его тетрадку со стихами, дав себе клятву, что только загляну в нее одним глазком и прочту всего один-единственный стишок. Тетрадь была почти вся исписана, но мне как-то не хотелось больше рыться в ней. Посмотрю только один-единственный, последний, тот, за которым уже идут пустые страницы. Самый последний! Последнее солнце. Красное блюдце над всем вознесла Белесая мгла. Последний мой день. На гроб его Зеленый веночек. Хочу уйти в великое одиночество. И уйду. В великое одиночество, где мамы уже не будет. Где не будет тебя, И тебя тоже, Только я один, Счастлив, Безмолвен, Велик, Каким никогда я не был в живых.

Я замер и целую вечность не мог сдвинуться с места. Мою голову раздирали страшные мысли.

Где наш Йожо? Кто знает, на работе ли он вообще! Ведь с самого утра идет дождь! А сегодня я его и вовсе еще не видал! Боже мой, что с ним?!

Я помчался вниз по лестнице, хотел узнать у мамы, но ведь ей я ничего не мог сказать! Через набитую туристами столовую я выскочил на улицу. Шел дождь. Крупный и редкий, но мне было все равно; даже если бы лило как из ведра, я все равно побежал бы искать Йожо.

Я мчался, а за мной мчался «последний дождь», прыгал «гроб», украшенный сосновыми ветками, катилось «кровавое солнечное блюдце». Йожо, брат! Йожо! Вок!!

В легких у меня что-то попискивало. Мне кажется, я даже плакал и причитал, что убью ее. Убью эту Яну, если этот день действительно будет последним Йожкиным днем!

У меня уже начало покалывать в боку. Но тут из-за поворота вынырнул участок дороги, на котором идет строительство.

Вокруг ни души. Ноги у меня стали свинцовыми.

Я кинулся к бараку.

И в этот момент из-за взорванной скалы показался Вок!

Голова и спина у него были прикрыты бумажным мешком из-под сахара. Он толкал перед собой по доске тачку, полную щебня. Доска под ним раскачивалась, и казалось, что он танцует. Мне даже послышалось, будто он насвистывает что-то в такт шагам. Я очень обрадовался. Хотел было броситься к нему, но тут же остановился, потому что, провалиться мне на этом месте, я просто не знал, что ему сказать.

— Ты как сюда попал, Дюро? — удивился он, увидав меня.

У меня мелькнула спасительная мысль:

— Тренируюсь в беге!

— Под дождем? — Он поставил тачку. — Ты что, рехнулся?

Честное слово, ничего другого мне не пришло в голову.

— Пошли домой, — заглянул я ему в лицо.

— Вот теленок, — сказал Йожо и двинулся дальше, толкая перед собой тачку.

А я и впрямь стоял как теленок. Мне совсем не хотелось идти обратно. Возвращаясь, Йожо оставил тачку и приказал:

— Сыпь в барак!

В бараке сидели двое минеров и пятеро рабочих. Весело потрескивал огонь в печи; они курили. Йожо вошел следом за мной, сбросил с себя брезентовую куртку и накинул ее на меня. Волосы я вытер носовым платком.

— Не надрывайся так, сынок, — сказал, обращаясь к Йожо, старый рабочий. — Не то перестанешь расти и останешься карапузом.

Все засмеялись. Ведь наш Вок уже и сейчас вымахал выше их всех.

— Или ты собираешься жениться? — принялся разыгрывать его другой. — И тебе нужны деньги?

Йожо покраснел как рак. Я оцепенел, но зря.

— Мне просто нравится работать, когда дождь идет, — вежливо ответил Йожо.

Скажите пожалуйста!

Потом он смерил меня с головы до ног, чтобы другие видели, что и он может кому-то приказать, и строго прошипел:

— В другой раз я швырну тебя в электропилу и ты покатишься на Быстру в виде полена!

Раньше я бы огорчился, что Вок на меня злится, но теперь-то я уже знал, что он совсем не такой, какого из себя строит.

Ну конечно! Он подмигнул рабочим и за моей спиной засмеялся.

Подумать только! И тут же все: и «последний день», и «кровавое блюдо», и «кустарник на могиле» — сразу исчезло. Как только я надел Йожкину брезентовую куртку, я сразу понял, и чем дело. В кармане шелестело письмо!

Теперь я буду повнимательней к его стихам.

В бараке было здорово! Полно дыма и блох. Одна уже прыгала у меня под майкой. Она так щекотала, что я чуть не лопнул со смеха.

Йожо отвез еще четыре тачки, а потом мы пошли домой. Он напялил мне на голову мешок из-под сахара. И всю дорогу мы разговаривали. Про стихи я, конечно, даже не заикнулся.

— Не знаешь, что сегодня на обед? — спросил Вок, когда между деревьями показался наш дом.

— Пирог пекли, а больше не знаю, — ответил я быстро, запихнул мешок под мышку и пустился бежать, как борзая.

Я мчался в пятнадцатую комнату спрятать под Йожкино одеяло его черную тетрадку.

Как жаль, что у Йожо еще нет часов. Он отметил бы время, и я наверняка заткнул бы за пояс Абеба Бекилу в беге на два километра! \* \* \*

Мы устроили за домом соревнования по прыжкам. Надо было прыгнуть и обеими ногами оттолкнуться от стены. К финалу пас оставалось только пятеро. Девять вылетело в предыдущих кругах. Это были главным образом брезнянчане из двух семейных автобусов. У одного из них был судейский свисток. Мы построились в линейку, лицом к стене. Он свистнул, мы все подскочили и оттолкнулись и одновременно опрокинулись навзничь. Иветта, наша двоюродная сестра, подняла страшный рев.

Ее услышала моя мама. Выглянула из окна кладовки и закричала:

— Я тебя так выдеру, Дюрка, что даже родной отец не узнает! Только попробуй порвать выходные штаны! В школу пойдешь с вырванным задом! Ни отдыха от вас, ни покоя... А ты, Иветка, иди домой! Не играй с этими озорниками.

Бедняжка мама притворяется. На меня вдруг накричала, хотя раньше этого никогда не было, а сердится она на что-то совсем другое.

Она просто недовольна, что приехали дядя Ярослав с Иветтой, да еще не известно, на сколько. Я собственными ушами слышал, как при встрече он неопределенно сказал отцу:

— Моя Тильдушка прихворнула и отправила пас на несколько дней к тебе.

— А что с ней? — спросил отец.

— Нервы, куманек, — ответил дядя серьезно. — Ей необходим покой и отдых. У нее такой нежный и деликатный организм...

Я не люблю тетю Тильду, хоть она и двоюродная сестра моего отца. Волосы мочит сахарной водичкой, чтоб лучше держалась прическа, и все время всем делает замечания; наверное, потому, что она натура деликатная. А по-моему, какая же она деликатная? Я сам видел, как она смолотила три бифштекса в один присест. Но если тетя Тильда утверждает, что у нее нежный организм, то, наверное, так оно и есть. Человек сам должен про себя знать, деликатный он или нет. Ведь не каждому на это наплевать, как мне или нашему Йожо.

Может, тетя Тильда и деликатна, но я все равно ее не люблю. На этот раз она, правда, не приехала, потому что в прошлом году мама с ней поссорилась. Из-за фруктов. Тетя сказала, будто бы мы Иветте давали мало фруктов. Мама рассердилась именно потому, что давала Иветте фрукты, даже когда для нас их не было, и мы с Йожо потихоньку ворчали себе под нос. Тетя Тильда тогда сказала: «Эта атмосфера не для моего ребенка. Больше я ее сюда не пущу». А мама воскликнула: «Ну и слава богу!» И отец отвез их в город.

Но «ребенок» снова здесь. И что еще хуже — не один.

— В таком случае с приездом, — сказал отец.

— А что касается твоей жены, — начал дядя и схватил отца за пуговицу, — Тильдушка просила тебе передать, что больше на нее не сердится. «Терезка женщина простая, — просила она передать, — но сердце у нее доброе. И я без колебаний вручаю ей самое драгоценное свое сокровище».

Не знаю, не знаю. Но мне кажется, что отец должен был на это что-нибудь ответить. Непременно что-нибудь ответить.

Тут дядя Ярослав погладил по головке свое «драгоценнейшее сокровище» и сказал:

— Иди, душенька, поздоровайся с тетей Терезой.

Ну и нервы же у моего отца! Иветта влетела в кухню и бросилась моей маме на шею. Совсем не «деликатно», а вполне нормально, так, как делают все, если кого-то любят. И мама ее потискала. Мама всегда жалеет тощего, зеленого ребенка. Она сейчас же забывает все обиды, а кроме того, у мамы есть поговорка, что дети не отвечают за своих родителей.

А по-моему, если Иветка наябедничала про фрукты, значит, она такая же, как и ее мамаша, ничуть не лучше. Но навряд ли она ябедничала. Иветта, конечно, плакса и за что ни возьмется, толку от нее чуть. Но мою маму она очень любит. Иветта у нас каждый раз поправляется по меньшей мере на три кило. А дома они едят только майонез да сосиски, но не какие-нибудь, говорит тетя Тильда, а деликатесные, франкфуртские.

Габка прыгала вокруг Иветты и сходила с ума от восторга при виде ее белой сумочки.

— Ах, — схватилась Иветта за прическу, — чуть было не забыла! Тетя Тереза, моя мамочка просила тебе кое-что передать.

Она раскрыла сумочку — там что-то щелкнуло — и стала делать вид, будто что-то ищет. И все это для того, чтобы Габка увидела расческу, зеркальце, вышитый платочек и жевательную резинку; чтобы Габка все это увидела и позавидовала. Наконец Иветта достала из сумочки надушенный конверт и подала его маме. На нем красивым почерком было написано: «Пани Терезке Трангошевой». Внутри был сложенный лист бумаги, и на нем стояло: «В честь примирения и за внимание к И.».

Мама нахмурилась. Листок бумаги тоже был надушен. Пахло довольно противно. Но я подумал, что теперь ненавижу тетю Тильду чуть меньше.

Бумага была сложена вдвое. Там было написано: «Еще немножко терпения». Потом сложена еще раз, и там снова: «Уже ближе». А на последней страничке печатными буквами крупно: «Уже!»

Из бумаги выпали сто крон.

Мама послала нас на улицу, а сама забралась в комнатку за кухней, и я не поручусь, что она не плакала.

Я подставил Иветте подножку. Она не упала, но с моей стороны это было, конечно, безобразие. Я прямо-таки бесился от злости, что никому не могу ничего сделать. Я пинал все камни по дороге. А потом в сарае разрубил сук, с которым никто не мог справиться. А когда моя злость немножко поутихла, я придумал.

Пусть только эта гнусная баба посмеет явиться к нам! Я поймаю рогулькой змею и не посмотрю, гадюка это или уж, и швырну ее прямо на тетю Тильду. Пусть помрет от страха! Она воображает, что нашу маму можно оскорблять только за то, что она из Бенюша и не окончила четырех классов гимназии, как эта дурица!

Потом я пошел к маме. Она уже хлопотала на кухне, заправляла овощами бульон и делала вид, будто совсем ничего не случилось.

Но отцу я скажу все, что я думаю! Я скажу ему все осенью, когда мы отправимся заготавливать дрова на зиму. Тогда все спокойно, мы там сидим на бревнах, никто никуда не торопится, едим прямо из котелков и беседуем. Там и я могу себе позволить все, что угодно.

Сейчас за большим кухонным столом нас усаживается восемь человек: двое детей (Габулька и Иветта), двое парней (Йожо и я), наши родители, Юля и дядя Ярослав. Все это я установил в понедельник, когда целый день на дворе лил дождь. Старые туристы уехали, а новые еще не приехали. Вот мы и сидели за ужином чинно все вместе. Не так как если за столом собираются одни ребята и пинают друг друга ногами под столом.

Мы отодвинули стол от стены, и дядя Ярослав тут же уселся на главное место. Интересно, он не забыл свой старый трюк?

Когда Юля принесла суп, дядя встал, поклонился маме, как в театре, и принялся декламировать:

— Хоть я среди вас и самый старший, но, полагаю, что это почетное место принадлежит нашей уважаемой кормилице-поилице, милой, дорогой Терезке!

И кинулся целовать маме руку. Значит, не забыл!

Мама, конечно, руку целовать не дала. С минуту они весело возились, а потом мама легонько стукнула дядю по склоненной голове и сказала, как говорила каждый год:

— Не такой уж ты старый, Ярослав. На тебя еще девушки заглядываются.

На самом же деле дядя Ярослав уже совсем не молод. А Иветта еще маленькая.

Я уже думал, что мама забудет про самое главное. Но она не забыла.

— А где ты сейчас работаешь, Ярко? — спросила она.

Она сказала «Ярко», чтобы подсластить неприятный вопрос.

Уж она у нас такая: может задать и неприятный вопрос, но постарается сделать это помягче.

Выяснилось, что нигде. Точно так же, как и в прошлые годы. Только на сей раз у него радикулит и он — бюллетенит. В прошлый раз дядя жаловался на желчный пузырь, а в позапрошлый — на нервы.

— И тебе очень худо? — поинтересовалась мама и сама ответила: — Наверное! Просто так ведь человек не выдержит целые годы без работы. Правда, Ярко?

Мы ели, отец молча обгладывал ребрышко. Он не любит дядю Ярослава, и я знал, о чем он сейчас думает: «Уж если мужчина кого-нибудь ненавидит, то все-таки не позволяет себе подпускать ему шпильки, как баба. Он или съездит дармоеда по физиономии, или промолчит».

Бить его отец не может из-за тети Тильды и поэтому предпочитает молчать.

Что касается меня, я бы скорее отлупил тетю Тильду! А дядю Ярослава — с какой же стати! Но мне очень нравится слушать, как мама подпускает ему шпильки. Хотя она просто говорит то, что думает. Она никого этим не хочет обидеть. И это мне нравится. Я знаю, что она сердится, когда дядя Ярослав приезжает к нам, но также знаю, что будет уговаривать его остаться, когда он соберется уезжать. Ей хочется, чтобы они с Иветтой хотя бы поели досыта, потому что у себя дома целый год не видят приличного обеда.

Все это дядя Ярослав прекрасно знает. И ведет себя по-дурацки, только пока передает поручения своей «драгоценной» супруги (попробовал бы не передать!). А когда все передаст, то всем ясно, что он по-прежнему любит нашу маму. Вот и сейчас, когда мы доели обед, он схватился за поясницу и начал маме объяснять, что такое радикулит и как он мучителен для человека.

Мама его пожалела, принесла папин длинный серый свитер и предложила дяде надеть. Он прикроет его больную поясницу. Дядя с трудом натянул свитер на широкие плечи, поднялся из-за стола, стукнулся головой о лампу, продел руки в рукава и наконец, стараясь не стукнуться еще раз о лампу, просунул голову через ворот и пригладил рукой густые, с проседью волосы. В свете лампы медно блестело его смуглое лицо и сверкали крупные зубы.

— Ну, Ярослав, — оглядела его мама, а Йожо заранее фыркнул, — измучается бедняга радикулит, пока подомнет под себя такого мужика, как ты!

— Ах, дети мои, — выгнул дядя грудь колесом, — нет, не такой я стал, каким был когда-то.

— На работе замучился, — не удержался отец, подпустил все-таки шпильку и поднялся. — Пойду-ка посмотрю, что-то там движок барахлит.

Лампочки в доме уже давно помаргивали. То светили нормально, то вдруг начинали гаснуть, и мы видели, как в лампе над столом алеет раскаленная проволока. Мы все уже вылезли из-за стола и расположились где попало. А у дяди Ярослава вдруг испортилось настроение. Он притих, оперся локтем о колено и склонил свою большую голову. Мне очень захотелось порасспросить его о серебряном молотке, о копях и руде.

Про это он всегда любил поговорить. Мама собирала со стола. Дядя поднялся и взялся за тряпку, хотя вода для посуды только еще начинала нагреваться.

— Выпьешь кофе, Ярослав? — спросила мама, достала из шкафа кофейную мельницу, отобрала у дяди тряпку и сунула ему мельницу в руки.



Юля плеснула воды из кастрюли в котелок и подложила дров.

Дядя смолот кофе и стоял, осторожно держа в руках мельницу. И вдруг, когда в лампочке осталась лишь тусклая красная проволочка, он сказал просто так, не обращая ни к кому и ко всем:

— Я уже всем опостылел, а больше всех самому себе.

— Надо бы тебе на работу идти, Ярко, — ответила мама, и тон у нее был совсем не такой, каким она перепиливает меня пополам, читая нотации про лень и виселицу.

— Сколько раз я пытался, Тереза! Я не виноват, что каждый раз мне попадается начальник дурак или бандит! А один был настоящим преступником. Тот, на складе.

— На это не надо обращать внимания, Ярослав, — сказала мама, подавая ему кофе. — Неполомки на работе всегда были и будут.

— Как это не надо обращать внимания? — У дяди зло сверкнули глаза. — А если такой негодяй на тебя насядет и пойдет швырять из огня да в полымя, словно ты не человек, а бессловесная тварь?!

Дядя повысил голос. Бой вздрогнул, заскулил под столом и начал во сне сучить ногами. Он тяжело дышал, словно бежал по-правдашнему. Это было очень смешно.

— Почему он обязательно должен на тебя насесть? — спросила мама.

— «Почему, почему!» — разозлился дядя. — За правду. Потому что я вижу все его грязные махинации. И не желаю помалкивать! Ты и понятия не имеешь, на что способен примитивный тип, когда он сталкивается с интеллигентом! Бежит в профком, партком и жалуется. А если у тебя нет радикулита или другой хвори, то тебя просто вышвыривают с работы как собаку.

— Это за правду-то? — удивилась мама.

— Конечно, тебе не пишут: «Уволен, потому что говорил правду», но «За отсутствие трудовой дисциплины» или еще какую-нибудь ерунду.

Бою перестал спиться сон. А дядя продолжал, распаяясь все больше и больше. Но мама не поддалась.

— Не надо тут же приходить в отчаяние. Порядочные люди всегда за правду стоят, — сказала она.

О Господи! Дядя так подскочил, что даже кофе пролил, но потом снова уселся.

— «Порядочные люди!» Да где ты их найдешь, порядочных людей! Все фальшивые, подлые, трусливые!

Выскочил Страж и угрожающе зарычал. Девчонки испуганно захлопнули сумочку. Йожо давно уже сидел в нашей пятнадцатой комнате.

Мне уходить не хотелось. Я слушал и думал, что дядя неправ. Я лично знаю многих людей, и вовсе они не фальшивые, и не подлые, и не трусливые. Конечно, среди наших мальчишек, может, найдутся подлые, но таких намного меньше, чем хороших.

Дядя и сам понял, что говорит глупости.

— Сразу видно, Тереза, что ты живешь не среди людей, а среди деревьев, — молвил он.

Он и сам не заметил, как ляпнул глупость во второй раз. Моя мама живет среди людей. А среди деревьев сажает картошку.

Электричество все мигало и раза два погасло на целую минуту.

Отец кликнул Йожо. Я выскочил в коридор.

— Он уже спит, — сказал я быстро.

— Тогда пойдешь ты. У тебя на ногах что?

Я влез в резиновые сапоги, которые всегда ждут меня в коридоре у дверей.

Мы с отцом шли посмотреть на наше «водохранилище». Он сказал, что динамо уже проверил и оно в порядке. Что-то случилось с резервуаром, а не на электростанции. Электростанцией мы называем сарай, построенный для движка, чтоб его не заливал дождь.

Мы пробирались через лес в гору.

Чтобы крутить динамо, вода должна падать сверху. Отец светил перед собой большим охотничьим фонарем.

Я следовал за ним по пятам. И все равно мне казалось, что вот-вот меня кто-то схватит сзади. Мне нравится так бояться. Я иногда нарочно убеждаю себя, будто слышу за собой шаги или шорох. Я представляю, как на меня кто-то набрасывается, но только это не зверь, а какое-нибудь жуткое чудовище. Кровь застывает у меня в жилах, но я ни за что на свете не прижмусь к папе и не прибавлю шага. Я иду медленно и ровно. Так я вырабатываю характер.

В лесу было сыро. Остро пахло мхом. Дождь прекратился. Отец осветил фонариком лес. В луче света затанцевали разбуженные деревья. Казалось, они в испуге отступают в темноту.

Когда электричество у нас вдруг гаснет, мы знаем, что засорился фильтр и вода через него не может пройти. Обычно водохранилище прикрыто досками, чтоб туда не попадали листья.

Обычно, как я сказал, резервуар с водой прикрыт. Но только на этот раз все доски были разбросаны, у одной даже белел край, как будто от нее откололи большую щепку, и там внутри было полно земли. Вода, правда, проложила себе русло, но фильтр был так засорен, что едва пропускал тонюсенькую струйку.

Мы долго осматривали эти варварские разрушения, а потом отец стал громко браниться:

— Я ноги ему переломаяю, этому чертову старику! Я его подкараулю. Ах ты боров старый, негодник ты эдакий!

«Старый негодник и боров» — это старый олень с ветвистыми рогами, личный враг отца. Он и в прошлое воскресенье дразнил его из-за дерева, когда отец бродил по лесу. Этот старик уже несколько раз загораживал отцу дорогу, когда отец ехал на «лимоне» вверх по долине. Олень не боится ни шума мотора, ни света фар. И отступает, лишь когда отец толкает его радиатором; да и то не удирает в лес, а остается стоять на обочине и дерзко поглядывает на ползущий потихоньку автомобиль, будто старается разглядеть, что отец везет в кузове.

А сейчас негодник еще разорил наше водохранилище.

Отец еще раз прочесал лес лучом света.

— Ты хоть покажись, бездельник! — крикнул он. Отец был убежден, что олень откуда-то наблюдает за нами и смеется.

Лопату мы не взяли, и мне пришлось разгребать завал голыми руками. Тут и я принялся ругаться. Интересно, кто бы смолчал, когда руки ломит от ледяной воды...

Обратно мы шли медленно. Руки в карманах горели, кое-где на крутых поворотах я спотыкался. Мы беседовали о старике олене. Он — бобыль и может напасть даже на человека, хотя обычно олени людей не трогают. Этот, конечно, тоже не съест, ха-ха-ха! Только забьет рогами, если ему поддаться.

Отец уже в прошлом году подговаривал дядю Рыдзика поохотиться на него. Да только дядя все откладывает охоту на осень для каких-то иностранных охотников. Еще по весне ему прислали от них заявление из Управления лесного хозяйства. И не только от этих, а еще от целой кучи иностранцев.

Когда они приедут, я обойду с Боем и Стражем горы и подучу собак, чтоб они распугали своим лаем все зверье до самого Микулашского хутора. А этих немцев наш старик бобыль пусть затопчет. Мне его жалко. Пуля есть пуля. И одинаково продырявит и трусливое, и отважное сердце. Я лучше спугну старика. Честное слово!

Отцу о своем плане я, конечно, ничего не сказал. Он-то ждет иностранцев. Ведь осенью «мертвый» сезон, и если бы не охотники, то в нашей горной гостинице никто бы не останавливался.

Когда мы подходили к электростанции, то увидели, что все окна в доме светлы, как от ясного солнышка. В светлом кухонном окне видно было, как чистит зубы дядя Ярослав. Он плевался вокруг себя белой пеной, отхлебывал из кружки, плескал себе на спину и подскакивал как сумасшедший.

— Воображает, будто он среди дикарей, — озлился отец. — И ведет себя как дикарь.

У нас в каждой комнате водопровод и умывальник.

— Так что там было, начальник? — затараторил дядя, увидев нас.

— Ничего, — резко ответил отец. А потом добавил уже спокойнее: — Доброй ночи!

Я все рассказал маме и тоже пошел спать. Но потом долго еще ворочался в постели и думал о старике олене. Кто знает, может быть, он и впрямь все понимает, если так потешается над моим отцом. Я бы на его месте тоже не удержался от смеха, если б видел, притаившись среди деревьев, как двое людей голыми руками расчищают засыпанное водохранилище. \* \* \*

До нас дошли слухи, что в Микулаше видали нашего Боя. И действительно, его нет дома уже вторую неделю. Они пропали вместе со Стражем, но Страж через четыре дня вернулся. С их бродяжничеством бороться невозможно. Но чтоб один из псов бросил другого, такого еще не бывало.

Сначала отец пошел к дяде Рыдзику, потому что тот грозился как-то раз, что если наши сенбернары не перестанут распугивать дичь, то он безо всяких яких пошлет им вдогонку полный заряд дроби. Дядя Рыдзик сказал, что нынче смерть Боя пока не на его совести. И отец стал расспрашивать о Бое всех, кто к нам являлся, но не узнал, где его видели в Микулаше. Отец подождал еще два дня — не явится ли Бой сам, а потом решил: пускай Йожо отпраится на один день с работы и они вместе отправятся через горы в Микулаш.

Йожо был таким оборотом дела очень недоволен. Он бы охотно пошел, да только один, и не через горы, а через Рудомберок. Мы с ним стали придумывать разные планы и комбинации, пока окончательно не вывели отца из себя, а это не так-то уж и трудно.

— Сам пойду! — кричал отец. — Полон дом лентяев. Чего не сделаешь сам, не сделает

никто!

Дядя Ярослав принял это на свой счет, обиделся и начал предлагать свою кандидатуру. Он обижается часто, но дело всегда кончается только благими намерениями. На этот раз его номер не прошел.

— Приедут туристы, — сказал отец. — Женщинам одним с ними не управиться.

И кивнул головой в знак того, что, мол, в Микулаш может идти дядя Ярослав вместе со мной. Надежды Йожо испарились, как туман в черной чаше вселенной. Я слышал, как Йожо поднимается вверх по лестнице и запирается в пятнадцатой. Значит, скоро появятся новые стихи: Хочу уйти один в пустыню, Ведь Ружомберок я не увижу ныне.

В кухне начались великие сборы. Дядя Ярослав велел согреть котел воды, чтобы основательно попарить ноги перед походом. Затем принялся примерять обувь — сначала свою, потом папину. Он требовал у мамы носки, менял шнурки и всем морочил голову. Подобрал наконец обувь, он ушел в чулан подобрать и приготовить рюкзаки. Через открытую дверь на весь коридор он диктовал маме, что она должна приготовить нам для утоления голода и жажды, что для освежения, сколько и каких калорий.

— Записывай, Дюро! — покрикивал он на меня. — Ты получаешь спецзадание — взять с собой аптечку.

— Аптечку? — изумился я.

Я, конечно, и не подумал ничего записывать.

— Да, — кричал дядя решительно, — маленькую, но чтоб все в ней было! Понемножку, но абсолютно все. Лейкопластыря же бери побольше про запас для царапин и волдырей, понимаешь?

Иветта испуганно крутилась вокруг отца. А наш папа уже давно ушел из столовой. Мама сначала смеялась, таскала все, что дядя просил, но, вспомнив, что у нее еще куча всяких дел, потеряла терпение и сказала:

— Да успокойся ты, Ярослав. Не отпущу я вас голодными. А насчет аптечки брось, ведь ты же не на войну идешь.

— Что? — повернул дядя голову и строго поглядел на маму. — Без аптечки культурный человек не сделает и шагу!

Он смотрел на маму таким осуждающим взглядом, укоряя ее за бескультурье, что было даже смешно.

— В горах человека подстерегают тысячи опасностей, — поучал он нас.

А Иветта хныкала.

— Не ходи никуда, папочка... Я тебя не пущу... Я напишу мамочке, не ходи-и-и-и...

— Это мой долг, дитя, — изрек он и устремил свой взор вдаль, совсем как артист в телевизоре. — Долг есть долг. И долг мужчины — не сворачивать с пути, как бы этот путь ни был тернист!

Но первое, что мы сделали утром, выйдя из дому, — все-таки свернули с тернистого пути нашего долга. Мы должны были идти через Седло к Демяновой, а оттуда ехать автобусом до Микулаша. Дядя Ярослав вечером по отцовской карте прочертил трассу красным карандашом

и долго выпрашивал отца об ориентирах. Утром он велел мне еще раз все повторить. Мы шли ровно двенадцать минут, когда он оглянулся и посмотрел, не виднеются ли трубы нашего дома и не подглядывает ли за нами из какой-нибудь трубы мой отец, а потом сел и сказал:

— Голова человеку дана для того, чтобы думать.

Это факт.

— ...а работает пускай лошадь.

Я не понял. Он вовсе не казался мне рабочей лошадью.

— До Демяновой — путь длинный и пустынный. Негде даже кружку пива выпить!

Ага! Вот оно что!

— Пойдем через Янскую.

Ничего себе! Вот это крюк!

— Первая остановка Партизанская хата. Посмотрим, не переросла ли тебя Лива.

Его интересует Лива? А может быть, Ливина мама? «Вы необыкновенная женщина, сударыня, вы прекрасная амазонка. Как можно заточить вас в этом каменном одиночестве! Когда-нибудь явится принц...» — «Из Мартина, не так ли?» — смеялась тетя Смржова, смеялся и дядя Смрж, и мои родители, потому что тогда мы все вместе были у Смржовых на крестинах (не Ливиных, и не Эстиных, а маленького Палика). Выпивки было столько, что даже нам, детям, налили шоколадного ликера. Дядя Ярослав пустился в пляс и хотел обязательно танцевать с тетей Амазонкой. Что было дальше, я не знаю, потому что мы взяли старый граммофон и ушли с ним в общежитие. Мы скакали под музыку по двухэтажным нарам. Лива тогда даже стукнулась головой, но, увидев, что Йожо ее ни капельки не жалеет, а знай себе накручивает и накручивает граммофон, реветь не стала. Но самое прекрасное было возвращаться ночью домой. Ночь была светлая, лунная. И все равно мы спотыкались и падали — все, кроме отца. Он не мог себе этого позволить, потому что нес на плечах Габую. В рюкзаке, чтобы она не свалилась, когда уснет...

— Это, конечно, останется между нами, Дюрко, — сказал дядя Ярослав, поднимаясь.

Ну что я вам говорил! В конце концов, это меня не касается, я ведь еще почти мальчишка и взрослых должен слушаться. Если позже что-нибудь случайно выплывет наружу, мое дело сторона, и все тут. Не такой уж я дурак, чтобы дядю отговаривать. В Партизанской хате, между прочим, очень здорово. Я его и не отговаривал! Я маленький и я слушаюсь!

— Договорились? — поднялся дядя. — Дома ни звука!

Я не девчонка, чтобы заниматься болтовней, я мужчина, а мужчины умеют молчать.

Мы выбрались на старую дорогу под Седлом. Постояли, а потом забрали вправо. Дорога здесь ровная, широкая, только камней много с гор понасыпалось. Кто же станет убирать шоссе, если по нему никто не ездит? Я, по крайней мере, сколько лет живу на свете, не видал на этой дороге ни автомобиля, ни телеги, ни хотя бы даже велосипеда. Эта дорога вообще самая большая загадка Низких Татр. Она идет ниоткуда и ведет никуда. Ни с того ни с сего кончается посреди Дюмберского перевала. Построить ее было наверняка делом трудным, потому что выше зарослей стланика склоны гор очень крутые, и дорогу в них нужно было буквально вырубать. И можете не воображать, что это короткий участок! От Габлика дорога идет через весь Хопок, Крупову Голю, Демяновский перевал и Дюмберскую скалу! Мой отец

считает, что это военная дорога и что по ней во время первой мировой войны возили на позиции пушки. Отец в это верит, потому что, по его мнению, такую адскую работу могли проделать только солдаты или заключенные.

Мы шагали по дороге медленно и чинно, как настоящие господа. Солнце светило нам в лицо, начинало понемногу припекать. Дядя надел темные очки и подкатал гольфы, чтобы ноги загорали равномерно. Мне он во что бы то ни стало хотел натянуть на голову носовой платок, с завязанными по углам узлами. Он побрызгал его водой из солдатской манерки, заявив, что именно такие шустрые парнишки, как я, частенько сваливаются от солнечного удара.

Я засмеялся и привязал этот носовой платок к его узорчатой валашке[1]. Дядя любит ходить по горам весь обвешанный. На поясе у него болтается мешочек для хлеба, висит карта в футляре и солдатская манерка. Недостает лишь флажка. Когда я его соорудил, дядя забыл про мой солнечный удар, поднял валашку, ветер подхватил мокрый носовой платок, а дядя запел во все горло. Совсем как та певица в телевизоре, что исполняла «Розалн-и-и-и, доброе утро!».

— Парламентеры идут! — припустился дядя к Партизанской хате, размахивая белым флажком. — О прекрасная дама, примите их поласковее!

Синее небо, без единого облачка, дрожало в теплом мареве. Зубчатый гребень Дюмбера гордо возвышался над седыми хребтами гор. Им не было конца, словно это были не горные вершины, а гигантская череда ленивых, спящих овец. Аромат разогретой солнцем хвои обступал нас. Дядя шел четким шагом, подняв лицо к солнцу. Из-под кованых сапог то и дело выскакивали короткие искры.

Вы только посмотрите, как он торопится!

— Ага, а вот и Партизанская! — приставил вдруг дядя ладонь к глазам.

Вот так та-а-ак! Раньше меня разглядел!

— Таких парламентеров, как мы, — он выгибал грудь колесом и чуть не прыгал по каменистой дороге, — там могут принять только душевно.

— Да, — смеялся я, — нас могут и душевно принять, а могут и душевно перестрелять.

— Ха-ха-ха! — расхохотался дядя. — Из какого оружия? Самое страшное, если тетя Смржова посадит нас в чугунок и сварит из нас гуляш.

Я хохотал как сумасшедший, когда представил себе, как мы варимся в чугунках, — в одном я, в другом дядя Ярослав. Варимся и смеемся. Я улыбаюсь Ливе, а дядя — прекрасной Амазонке.

А между тем мы уже достигли конца дороги. Я рассказал дяде, что думаю про эту дорогу и что думал, когда был маленьким. Когда я был маленьким, я думал, что в давние времена, когда в горах еще жили великаны, один из великанских детей прорыл себе здесь мотыгой тропинку, чтобы возить по ней на веревочке великанскую тележку.

Дядя сказал, что возможно, конечно, и то и другое, но он лично о возникновении дороги думает совсем иначе, у него есть третий вариант.

— Эта дорога наверняка горняцкая, под Гапликом, где-то неподалеку от ее конца, должен быть старый рудник.

— Да что вы! — воскликнул я. — Никакого рудника там нет. Я бы это знал. А если не я, то уж

наш Йожо наверняка.

— Ну-ну! Ты только не спеши с выводами, — покачал головой дядя. — Входы в старые штольни часто бывают засыпаны или густо поросли кустарником.

Я, конечно, сильно сомневаюсь, но будем считать, что это так.

— Куда же, по-вашему, эту руду возили, если дорога никуда не ведет? Ее отсюда уносили ястребы в когтях, что ли? — спросил я. Неплохо придумано, а?

Тем временем мы уже подошли к самому концу дороги. Дальше не было ничего. Даже тропинки. Дядя задумался.

— Именно потому я и считаю, что она была горняцкая, — сказал он. — Дорогу оставили недостроенной, когда исчезла рудная жила и горняки поняли, что копать дальше не имеет смысла.

Неплохо придумано. Конечно, не так красиво, как мой вариант с младенцем-великаном, и не так страшно, как папин с заключенными, но я поверю дяде только в том случае, если обнаружу под Гапликом шахту. И то не на все сто процентов. А насчет великанов у меня есть доказательство: наш Марманец. Хотя я в это тоже не очень-то верю. У отца тоже есть доказательства. Это книги о войне. Я мог бы ему поверить, но только его вариант мне не нравится. Сколько раз я мог об этом спросить нашего учителя Габчика, да только не хочу. Я лучше сам подумаю и постараюсь понять. Учителей я спрашиваю, когда сам ничего уже придумать не могу.

— Ну, а теперь конец разговорам. — Дядя спустился с дороги на крутой склон, — Трава скользкая, шагай за мной. Мои сапоги не станут скользить даже если ты меня случайно собьешь с ног.

— Не беспокойтесь! — крикнул я и, разбежавшись, стал съезжать на своих теннисках по сухой траве, наклонившись всем телом, совсем так же, как зимой, когда я на лыжах делаю «христианку». В этом я здорово натренирован, не хуже чем татранские горные козлы. — Спускайтесь осторожнее, — кричал я на бегу, — я подожду возле Партизанской!

Я летел, как стрела, пущенная из лука, летит через саванну. Партизанская хата находилась внизу, под нами, и я знал, что на бегу меня остановить не сможет никто и даже я сам, как бы я этого ни хотел. \* \* \*

После торжественного обеда женщины уговорили дядю Ярослава отдохнуть в комнате за кухней. Он сидел на тахте, развалясь на подушках, а тетя Амазонка потчевала его блинчиками. Официант принес черного кофе. И никому не хотелось от дяди уходить, потому что дядя начал рассказывать, что нового произошло на свете. Женщин больше всего занимали убийства, мужчин — сигналы неизвестного космического тела и марсианские блюдца, которые уже посещают нас не по одному, а большими группами.

— Клянусь своей грешной душой, — сказал один из парней, который таскает сюда наверх продукты на собственной спине, — я лично не знаю, что бы я сделал, если б такое блюдце село в нашей Краличке!

— А я знаю, — отозвался второй, что стоял, опершись о косяк двери. — Я подожду, пока из него вылезет марсианин, и прихлопну его так, что от него останется только мокрое место!

Дело в том, что дядя рассказывал, будто марсиане вовсе не люди, как мы, а эдакие студенистые, как медузы, существа, и что они сильные, только пока сидят в своих аппаратах. А вообще-то хилые и нежизнеспособные. Любопытно, откуда он это знает.

Я хотел сказать тому парню, что гостей с чужой планеты так не встречают. Ему-то самому понравится, если его, когда он прилетит на Марс, тамошние жители возьмут да и прихлопнут! От него бы, правда, осталось не мокрое место, а жирное пятно. А кроме того, такая встреча не принесет пользы не только ему, но и всему земному шару. Что тогда?

Пока я об этом размышлял, разговор начал крутиться вокруг того небесного тела, что приближается к нам из космоса и посылает загадочные радиосигналы.

— Его полет продлится десятки, если не сотни лет. И даже если потом оно столкнется с Землей, мы можем не волноваться, ведь в воздух взлетят лишь наши сгнившие косточки! — засмеялся дядя.

И сразу всех перестало интересовать загадочное небесное тело. Но только не меня! Я — молодое поколение и хочу знать, что меня ожидает в будущем.

А женщины между тем вернулись к убийствам. Сначала они жалели жертвы, а потом стали еще больше жалеть убийц.

— Бедные, бедные... — чуть не плакала тетя Смржова. — На какой-то момент у них происходит помутнение рассудка, и они не ведают, что творят, а потом им приходится расплачиваться за это всю свою жизнь!

Я вышел. Вот еще, слушать всякую чепуху! В кухне было слышно, как дядя говорил нежным голосом:

— Вас должны были бы назначить судьей, пани Геленка, — убийцы оценили бы ваше доброе сердце и мягкие приговоры. Но если б вы хоть кому-нибудь дали год условно, то все преступники объединились бы и по знакомству эдак галантно взяли и придушили вас.

Ха-ха-ха! Ну и штучка мой дядя! Я вышел на улицу и тут же чихнул, потому что солнце защекотало у меня в носу.

Здесь наверху, у Партизанской хаты, воздух почти такой же сырой, как у нас в погребе, — конечно, не совсем, но почти. Наверное, потому, что эта турбаза вся сложена из камня и прижата одной стороной к горе так, что человек прямо со склона попадает на ее крышу. Зимой здесь у лыжников никогда не просыхают ботинки, а все сухое становится влажным от каменных стен.

Но зато когда во время Словацкого восстания немцы заминировали этот дом, он даже с места не сдвинулся, только от одного угла отскочили три гранитных обломка.

Вот так!

Перед домом, в шезлонгах, загорали пять человек. Одеты они были по-зимнему, потому что здесь никогда не бывает жарко. Я отправился искать Ливу. С тех пор как мы пришли, она еще не показывалась. И к обеду не явилась. Спорим, что она нас видела и именно потому прячется. Она настоящая дикарка. Дома совсем не помогает, иногда по целым дням где-то шатается. Да к тому же она младше меня.

Я забрался на крышу и прислонился к трубе. Труба была каменная, высотой с меня и совсем холодная, но от ветра укрывает хорошо.

Вид отсюда классный. Я видел город в голубой дымке — наверное, это Брезно. Видел я и Ливу, как она что-то старательно делает на неровной площадке под крутой скалистой стеной. Я бегом пустился к ней. Я знаю, что под стеной есть такая пещерка и в ней Лива устроила себе комнату.



— Обедать будешь? — глянула она на меня, и я прижался к скале, чтобы как-то удержаться на ногах, если ей вздумается меня толкнуть. Глаза у Ливы зеленые и почти совсем скрыты темными ресницами. А волосы какие-то пегие, выгоревшие на солнце. — Ну, будешь или не будешь? — ткнула она меня палкой. Это, наверное, была поварешка.

Возле пещеры сидела старая Ливина кукла, а перед куклой стояла нормальная тарелка, полная засохших кусков пирога. Настоящих.

— Я уже обедал, — испугался я и быстро добавил: — Но от полдника не откажусь.

Я не думал, что у нее есть вода. Вода здесь дефицит.

— Ну заходи внутрь. — Лива вылезла из пещеры, потому что вдвоем в ней не уместиться.

И когда я, наклонив голову, уже сидел на кушетке из серого мха, она поклонилась и сказала:

— Добро пожаловать!

В чашку с отбитой ручкой Лива насыпала щепотку какао и столько же сахара, залила все это водой из бутылки, размешала палочкой и снова поклонилась:

— Приятного аппетита.

Я отхлебнул какао. Лива осторожно втиснулась в пещеру и села на вторую кушетку из мха. Ее голова и босые ноги высывались наружу. Она все лето ходит в коротких кожаных штанах и тенниске. Ни ветра, ни холода она не замечает, наверное, потому, что дочерна загорела.

— Почему она сидит снаружи? — указал я на куклу. — Пусть тоже идет внутрь.

— Она не может, — ответила Лива, — иначе у нее растащат бриллианты.

— Ага! — Я выглянул наружу: не увижу ли чего, похожего на бриллианты.

Кукла пристально смотрела на равнину, где, словно застывшие волны, зеленели поросшие брусничником кочки. Брусники еще не было, и не видно было ничего, что бы блестело.

— А где же бриллианты? — вылез я из пещеры.

— Сейчас в земле. — Лива вылезла. — Вон ты видишь ладошки?

Действительно! Вся брусничная поляна была покрыта тонкими лапками паутины. Они напоминали ладони. Вырастая словно из земли, они, слегка раскрывшись, цеплялись за ветки брусничника. Их было очень много. Может быть, даже миллион. Миллион карликовых ладошек! Такого я еще в жизни не видел. Но мне хотелось увидеть бриллианты сейчас же.

— Сейчас они не появятся, — сказала Лива. — Только ночью. Утром их тоже можно увидеть. Лежат по три-четыре в каждой ладошке. Но когда начинает припекать солнце, они исчезают.

— Чтобы солнце не ослепло от их блеска?

— Еще чего! Чтобы их не увидели люди из долины. Если бы брезняне увидели блеск бриллиантов, они пришли бы и собрали их в мешок. Поэтому днем бриллианты прячутся в земле.

Я считаю неправильным, чтобы все это богатство принадлежало глупой, неживой кукле.

— А почему бы и нет? — накинулась на меня Лива. — Они были моими, и я их подарила кукле. Не желаю сидеть здесь и целыми ночами сторожить их!

Ну, это уж факт!

Потом мы соорудили кукле палатку из полотенца, чтобы она не торчала просто так, под открытым небом. (Лива принесла полотенце из общежития.)

— Тебя ищут, — сказала она, когда палатка была готова.

Пускай себе ищут, я еще немного посижу с Ливой в пещере.

Она наигрывала на маленькой губной гармонике, а я ей заказывал песни, и получилось что-то вроде концерта по заявкам. Лива исполнила «Черную бороду» и «Аккорды в огне». Про то, как кто-то сидит ночью совсем один и играет на банджо. Нам нравилось, что в этой песне весь дом спит, а банджо играет для сосен и серых утесов. Если бы у нас перед пещерой горел костер, то и мы бы запели: «Я бросаю аккорды в ого-о-онь...»

Эти новые песни мы знаем оба — Лива и я. Когда папа покупает в Штявнице пластинки, он берет сразу по две: для нас и для Смирновых. Поэтому мы оба их знаем наизусть.

Петь приходилось мне одному, потому что Лива играла на гармонике. Если мне уж приходится петь, то я пою низким голосом. И только когда Лива без моей заявки завела: «Когда мне пойдет семнадцатый год — время мое придет...» — я нарочно затянул тоненьким, девчоночьим голоском. Мне безразлично, пою я низким голосом или высоким. Я только средним не могу. Когда я пропищал: «Я еще девчонка маленька-а-я...» — Лива прыснула со смеху и не смогла больше играть. На этом концерт окончился.

Со скалы над нами кто-то протянул елейным голоском, совсем как подхалимка лисичка:

— Эге! Что это за красивые ножки там виднеются?

— Какой-то болван тащится, — сказал я. Не потому, что у Ливы некрасивые ноги (я заметил, что в общем-то Лива довольно красивая, хотя и моложе меня), а потому, что такую глупость может сказать только идиот.

— Почему болван? — оскорбилась Лива. Она вытянула шею, чтобы увидеть, что там делается наверху и кто там топчется.

— Не смей его звать! — стукнул я кулаком по лишайнику.

— Это еще почему? — протянула Лива.

Я услышал, как этот тип спускается вниз по каменной стене. Ему даже обойти ее вокруг не хотелось, так он торопился. Мы сидели в пещере. Через минуту перед самым нашим носом уже закачались башмаки на каучуке. Выше них были толстые белые носки, а еще выше — тонкие голые ноги. Я взглянул на Ливу. Она вся поджалась, словно рысь. Ноги всё болтались в воздухе, ища точку опоры. Вдруг Лива выгнулась, ухватилась за одну из ног и, повиснув всем своим весом, сдернула этого болвана со стены вниз. Он шмякнулся у входа в пещеру, как лягушка. И куртка у него была, кстати, зеленая. Мы захохотали как ненормальные и помчались через алмазное поле прочь. Парень ругался, выкрикивал нам вслед какие-то гнусности, но от нас и след простыл.

Ох, и хитра же эта Лива! Я так и не понял, хотела она или не хотела, чтобы этот парень спустился к ней.

Ну и задал бы мне отец перцу, если б я позволил себе что-нибудь подобное с нашими туристами! Когда мы остановились передохнуть, то увидели Ливину маму — она шла к нам.

— Дело плохо, — сказал я.

Да только Лива не испугалась. Я думаю, она вообще никого не боится. Она сунула руки в карманы и медленно двинулась навстречу своей маме.

— Ну, дети, — поглядела Ливиная мама на брусничник, покрытый паутиновыми ладошками, — это плохая примета. Зима будет суровой.

Лива обрадовалась, и я знаю почему.

Она ходит в школу в Брезне и весь учебный год живет там. Это понятно: к ним не ездит автобус, как к нам, а пешком идти — десять часов. Если бы у них был вертолет, тогда Лива могла бы возвращаться домой каждый день. А так как вертолета у них нет, то Лива живет в Брезне и домой попадает только на праздники.

Если зима суровая, да еще с метелями, то после рождественских каникул Лива не может сразу опуститься вниз и иногда ей удается прихватить еще неделю-другую. После весенних каникул тоже. Она, конечно, все это время бегаёт на лыжах и в метель чувствует себя великолепно. На мою долю такое счастье не выпадает, повезет самое большее на два-три дня. За три дня у нас в долине уляжется и самая свирепая метель.

Мы медленно шли за Ливиной мамой.

— Он, наверное, не пожаловался, — шепнул я Ливе.

— Да ты что? Факт, нет. — Лива была в этом уверена.

Того парня мы увидели перед самым домом. Он загорал в шезлонге. Лива успела скорчить ему рожу из-за маминой спины. Это уж вовсе ни к чему! Потому что в остальных шезлонгах Ливину гримасу заметили, и когда парень повел речь о хулиганах, все с ним согласились.

Ливиная мама повернулась и уже в дверях улыбнулась туристам.

— Может быть, в городах и есть хулиганы, — сказала она, — но в горах их нет. В горах все одеты как стилиаги, но это еще не значит, что они хулиганы. Не так ли, уважаемые?

Мы с Ливой прыснули со смеху, но уже в передней. Замечательная у Ливы мама! Ведь она, сама того не желая, заступилась за нас. Да и туристы были вроде подходящие. Они вдруг принялись разглядывать друг друга. Брючки, джинсы, крикливые рубахи, толстые свитеры, на шее платочки, на носу очки, а на головах вязаные шапочки с помпончиками. Дилинь-дилинь, дилинь-бом!

Совсем как стилиаги из телевизора. Они улыбались Ливиной маме, потому что и на ней тоже были надеты симпатичные джинсы.

Дядя уже начал злиться, говорил, что нас зовет долг, а я где-то безответственно болтаюсь. Он долго читал мне нотации о чувстве долга, охал, что неизвестно, дескать, кто из меня вырастет, и всячески выхвалялся перед тетей и перед остальными тоже. Я ничего не отвечал. Не стану же я ему портить игру. Ведь все бы заметили, что я-то уже давно здесь, а дядя Ярослав все еще не поднимается с кушетки.

Наконец он встал, влез в сапоги и начал перед зеркалом намазывать на нос толстый слой белой мази.

Тут мне стало ясно, что мы действительно уходим. \* \* \*

— Все хорошо, но все хорошо в меру, — сказал дядя Ярослав, когда мы уже спускались по крутизне в Янскую долину.

Ему все быстро надоедает. Я ведь тоже такой.

Мы шагали по долине и напевали в такт шагам. Спускаясь вниз, время от времени мы доставали из мешка с продуктами что-нибудь калорийное, и ноги у нас совсем, ну совсем не болели! Дядя прилепил на свой намазанный кремом нос зеленый листок, потому что от солнца кожа у него начала краснеть. А у меня нет. Я черный с самого начала лета и солнца уже не замечаю. Дядя все напевал и напевал, а мне уже расхотелось. Я достаточно напелся на школьных экскурсиях. За этим наш учитель Фукач следит очень строго. Он сразу же замечает, просто так ты открываешь рот или поешь, и тут же тебя дерг за ухо!

В профсоюзном доме отдыха дяде не захотели продать пива. Здесь, мол, только для отдыхающих, а чужим они не продают, не имеют права.

— Ну какой же я чужой? — пожал плечами дядя. — Ведь я завтурбазой из-под Дюмбера!

Вот дает!

— Не могу! — выкручивалась официантка. — Продавать запрещается.

— Тогда просто угостите меня, деточка, — сказал дядя усталым голосом. Наверное, его действительно мучила жажда.

Конопатая девушка поглядела на него карими глазами. Я видел, что она с удовольствием дала бы дяде хоть целый бочонок, потому что дядя уже не молод, а до Яна еще часа полтора ходьбы.

— Пойду спрошу у начальства. — И она зацокала высокими каблучками.

Дядя потирал руки и радовался тому, что перед ним ни одна женщина устоять не может.

— Нету пива. — Девушка возвращалась медленно. — У нас кончилось пиво.

Дядя не стал ругать девушку, но, когда мы вышли оттуда, рвал и метал, как тигр.

— Даже красота этих гор и та не может разбудить в них человеческие чувства! — кричал он. — Они же готовы сожрать друг друга, как волки! Плесень бюрократическая заедает, и все тут! Человек может у них под дверями подышать, стакана воды не подадут без письменного разрешения!

И правда нехорошо. Нам было стыдно — и нам и той девушке. Еще счастье, что дядя отвел душу, иначе я бы чувствовал себя так, словно мне дали под зад коленом. Дядя, к моей радости, бранился довольно комично, потому что я в первый раз слышал, чтоб волки пожирали друг друга. Или, скажем, когда дядя просил воды, а не пива и говорил, что он умирает, — это мне казалось сильно преувеличенным.

— Какой-то, — дядя стукнул валашкой о камень, — какой-то задушенный бюрократами край!

Не могу понять, но могу себе представить, что было бы, если б все завыв местных турбаз и домов отдыха так встречали туристов! Лично я после такого приема ни на одну турбазу не зашел бы. Еду носил бы с собой в рюкзаке, а воду пил из ручья. Конечно, так далеко не уйдешь. Ну сколько продуктов можно унести на спине? Не знаю, унесет ли человек тридцать килограммов.

Нам уже не было так весело.

Сразу нахлынули заботы. Мы вдруг стали думать, как нам искать в Микулаше Боя.

— Остановимся посреди площади и начнем свистеть, — предложил я. — Когда я дома свищу, за километр слышно.

— Это в горах и в тишине, — ответил дядя.

Конечно, Микулаш не горы, а город. И свист не может пролететь сквозь улицы. Наткнется на первый угол, стукнется об стену, соскользнет к земле и затихнет.

— А может быть, обратиться в городской радиокомитет, ведь радио всюду есть, — пришло мне в голову. — Мы можем в национальном комитете заплатить, и председатель разрешит мне подойти к микрофону. Я обращаюсь к Бюю. Он меня узнает по голосу и тут же прибежит.

— Не болтай глупостей, Дюро! — сказал дядя сердито. — По городскому репродуктору тебя даже родная мать не узнает, не то что собака. Ты что, никогда не слышал, как он ревет и хрипит?

— Как это не слышал? Когда я еду в школу и автобус останавливается на пятом километре, я очень ясно слышу, как из деревни доносится голос: «Тулошка Сераф, Тулошка Анна, Тулошка Матей, Тулошка Йозефина должны явиться на собрание комиссии социального обеспечения». А потом пускают твист «Летел лист».

Наконец-то дядя засмеялся.

— Это для того, чтобы вся деревня знала, что каждый лист с просьбой насчет пенсии пролетит через семейство Тулошек, — пробормотал он. — Кому помогают «святые Тулошки», того и пан бог в Братиславе благословляет. Но кого они невзлюбят, тот будет трижды несчастен, потому что его сошлют в пастухи или живьем загонят в гроб.

Ну и допекло же дядю это пиво!

Я снова начал про Боя.

— А почему бы ему не отозваться на наше обращение?!

— Как он может откликнуться, куриная твоя голова, если он не знает, откуда ты его зовешь! А даже если бы и знал, то не такой уж он гений, чтобы найти в Микулаше национальный комитет!

Я давно заметил, что наши собаки действуют дяде Ярославу на нервы. Он уже сейчас начал придумывать, что мы скажем отцу, если явимся домой без Боя. Да только я еще вчера решил, что без Боя не вернусь. Я его люблю. Мне его очень недостает, и потом, я очень боюсь, не морят ли его где-нибудь злые люди голодом или, еще того хуже, не бьют ли.

— Если мы останемся ночевать в гостинице, — сказал я дяде, когда мы остановились в Яне и зашли в буфет, — вы побудете в номере, отдохнете, а я обегаю все улицы и разыщу Боя, где бы он ни был.

— Так ведь и я могу бегать! — взъерошил мне волосы дядя. — Ты — полгорода, и я — полгорода. — Он сдул с пива пену и одним глотком осушил целую кружку.

Когда мы уже сидели в автобусе, я стал рыться в мешке: не забыли ли мы, случайно, поводок и намордник, потому что собак без намордника в автобусе возить нельзя. Озабоченные, плелись мы с автобусной остановки в гостиницу. Я впал в полное отчаяние, когда еще из автобуса увидел, сколько в Микулаше улиц и переулочков. Но ведь и Бой не пуговица! Собака ростом с теленка не может затеряться даже среди такого множества людей. Разве что его держат взаперти. Или его вовсе нет в Микулаше.

Если б я знал!..

Мы шагали по мощеному тротуару, и нас то и дело кто-нибудь толкал. Никак не пойму, почему люди в Микулаше такие злющие? Наверное, потому, что всегда торопятся и с большим удовольствием шагали бы друг дружке по головам. Меня обрадовало, что я заметил среди них туристов. Туристы тащились, медленно передвигая ноги и глаза по сторонам. Они мешали местным жителям, и это раздражало тех. На ходу я внимательно разглядывал длинную улицу. Машины по ней мчались в обе стороны. Посреди дороги, довольно далеко от нас, между автомобилями медленно пробиралась тележка, прикрытая белой простыней. Машины обгоняли ее, резко сигналили; а когда они проезжали мимо нас, я видел, что шоферы прямо-таки выходят из себя.

Я стал внимательнее разглядывать эту тележку, уж больно торжественно она грохотала по горбатой мостовой. Мне нравилось, что маленькая тележка, не обращая ровным счетом никакого внимания на транспорт, спокойно и медленно движется по этой сумасшедшей улице. Мне хотелось посмотреть на коняшку с такими крепкими нервами, но его все время заслоняли машины. Я до тех пор петлял среди толпы, пока мне наконец не удалось разглядеть его в просвет между машинами...

— Бой! — заорал я дико, как ненормальный. — Бойчик! Бой! Бой!..

Мне показалось, что замерла вся улица. Но Бой, который тянул тележку, уже замер на месте наверняка.

Он поднял голову, потянул носом воздух и громко и жалобно залаял. Сзади на тележку налетел грузовик. Улица перед ней вдруг обезлюдела. Ведь машины не могли объезжать ее против течения. Вот это да! Наш Бой остановил все движение на центральной улице города Микулаша!

Тут с тротуара сошел парень в окровавленном переднике и огромной рукой стукнул Боя по спине. Бой вздрогнул, а люди вокруг начали смеяться.

В этот момент опомнился и я и изо всех сил свистнул, заложив пальцы в рот. Бой увидел меня, дернулся, завилял хвостом и рванулся прямо с тележкой ко мне, через всю улицу, наперерез движению. Тележка ужасающе загромыхала, накренилась на бешеной скорости, и из-под простыни на мостовую шмякнулась огромная говяжья туша. Красный «фиат» взвизгнул тормозами, но шофер в нем сидел веселый, и только крикнул из окошка, что возьмет себе это мясо на гуляш. Парень в окровавленном фартуке выскочил на середину улицы, схватил говяжью тушу и пошел с ней, словно с гигантской палицей, прямо на нас. Я обхватил грязного Боя за шею. Он облизывал меня, обнимал лапами, выл и лаял мне прямо в ухо.

— Он взбесился!.. — кричали все вокруг. — Искусает мальчишку!.. Позовите милицию!.. Его надо пристрелить!..

Я перепугался.

К счастью, вмешался дядя Ярослав. Он произнес речь о радости встречи, о вековой дружбе человека с собакой, о блудном сыне (не знаю, кого он имел в виду — Боя или меня), о благородной миссии сенбернара, вырывающего людей из когтей суровых гор. Люди слушали его, и даже парень в фартуке опустил говяжью тушу и удобно о нее оперся. И только когда дядя начал говорить о несознательных людях, ворующих благородных собак, парень швырнул говядину на простыню и угрожающе закричал:

— Не трепись, приятель! — А потом повернулся к окружающим и сказал: — Не слушайте этого сумасшедшего, это сроду мой пес. Он — спокойный трудяга-ломовик. Правда, когда его окликают всякая деревенщина... Пошел, Ворон! — дернул он Боя за постромки, а на меня

цыкнул: — Пшел прочь, хулиган, пока я с тобой по-хорошему разговариваю, или я милицию позову!

Дядя Ярослав разволновался и начал объяснять, кто мы такие и чья это собака. Да только парень в фартуке уже вывел Боя на дорогу, и этот глупец покорно впрягся в тележку. Он тащил ее и оглядывался на меня, твякая, и крутил хвостом, чтобы я полюбовался, какой он послушный.

До чего же глуп! Ведь я учил его возить легкие санки по искристому белому снегу. Мама сшила из белого парашютного шелка постромки, чтобы он был таким же великолепным, как олень из сказки о Снежной королеве. А он тянет-расшибается какую-то гнусную тележку! Хороших же хозяев нашел ты себе в этом отвратительном грязном городе! Мясников, которые даже не знают, что Ворон должен быть черным, а не желто-белым, как наш Бой!

Правда, когда я плелся вслед за тележкой (потому что мы никуда уходить и не собирались: ни я, ни дядя Ярослав), я перестал удивляться, почему его называли Вороном. Ведь наш Бой от грязи стал совсем черным.

Парень еще раз крикнул на нас, потом достал из кармана нож, отхватил от говяжьей ноги кусок жира и бросил его Бою, чтобы люди видели, как хорошо он обращается с собакой. И этот подхалим сожрал жир. Я ему дома покажу, как унижаться! Служить, словно раб, за грязные отбросы с мясниковой тележки! Страж себе этого никогда бы не позволил. Страж не продается за жратву. Если Страж не сможет больше терпеть голода, он лучше стащит. Но в покорного раба мясники его никогда б не превратили. Страж не такой умный, как Бой, но безусловно из всех псов на свете он самый гордый и самолюбивый. А у Боя ума хватит на десятерых собак, но характер никуда не годится. Я не мог удержаться и сказал об этом дяде. Меня страшно обозлило, что Бой при этом еще блаженно облизывался.

— Не удивляйся, что так ведет себя собака, — махнул рукой дядя, — и люди бывают такие же. За жирный кусок продадут отца с матерью.

Нет, Страж совсем не такой!

А дядя иногда бывает ну просто невозможный! Иногда да, а иногда нет. Иногда с ним просто невозможно нормально разговаривать.

— Что мы сейчас сделаем? — спросил я. — Ножик у меня есть. Может, перережем постромки и удерем вместе с Боем за город? И там подождем.

— Прекрати! — крикнул на меня дядя. — С меня уже хватит бродячих цирков!

С него хватит! Сам устраивал цирк. Кто ему велел произносить речи о блудном сыне! Он просто бегать не умеет, вот в чем дело. Если бы дело было только во мне с Боем, то мы давно бы уже оказались в Липтовском Яне. Но тут вдруг у меня мелькнула мысль: а что, если меня подведет сам Бой, когда тот парень начнет манить его обратно кусками мяса?

Я, конечно, надеюсь, что этого не случится. На всякий случай я все-таки послушался дядю и спрятал ножик обратно в карман.

— Тут надо быть дипломатом, — чванился дядя Ярослав.

Мы приближались к мясной лавке. Парень в фартуке остановил Боя, и тот по старой привычке моментально улегся на пыльную мостовую. Настоящая свинья!

Дядя Ярослав с достоинством вошел за парнем в фартуке в лавку. Я подскочил к тележке и начал выпрягать Боя. Он сам помогал мне освободить голову и передние лапы от отвратительных жирных ремней. Я слышал, как дядя ведет дипломатические переговоры с

заведующим и с мясником и как парень в фартуке жалуется и нападает на дядю Ярослава.

Когда Бой был выпряжен, мне опять страшно захотелось пуститься наутек. Но дядя Ярослав, наверное, умеет читать мысли на расстоянии, потому что он выглянул из дверей и пригрозил мне:

— Стой и не двигайся. Мы не воры, чтобы красть собственную собаку!

— Мою собственную! — закричал парень.

— Это мы увидим. — Дядя Ярослав не кричал. — Есть еще законы в нашей республике. Мы свою правду докажем!

Мне было очень интересно, каким же это образом.

Завмаг послал помощника заниматься говядиной и рубить бульонные кости, а дядю Ярослава позвал обратно в магазин. Мы с Боем остались на улице. Но тут Бой начал вдруг вилять задом, поглядывать на меня и незаметно подвигаться поближе к мясной лавке. Я ему отвесил такую плюху, что у него тут же прошло желание облизывать мясные колоды! Он, конечно, сразу не понял, за что эту плюху огреб, и начал притворяться, будто мясник для него вовсе не существует. Но я для верности встал в дверях.

— Предположим, это действительно ваша собака, — сказал завмаг дяде. — Я могу вам поверить, но точно так же могу и не поверить.

— Не поверить! — Дядя стал ломать руки, но не очень сильно. — Так вы что, полагаете, что из-за чужой собаки мы тащились бы через горы сюда с другого конца света?!

Я замер на месте. Мне показалось, что так нам ни за что не удастся доказать свою правоту.

— Положим, что он ваш, — продолжал завмаг высокомерно. Он злил меня чем дальше, тем больше. — Тогда заберите его себе на доброе здоровье, я буду очень рад.

Ага! Оно и видно, как обрадуется твой помощник!

— Присосался этот пес к нам, как пиявка. Мы его каждый день вышвыриваем, а он лезет обратно, — продолжал завмаг оскорблять нас.

Я снова треснул Боя по уху:

— Будешь знать, ты, обжора!

— Мы его неплохо кормим, да только его не прокормить всем братиславским бойням, вместе взятым. Он готов запросто каждый день сожрать по барану.

— Ну уж этого вы мне не говорите, — перебил его дядя. — Он только недавно из щенков. Мы его вскармливали молоком и овощами.

Батюшки! Что это дядя плетет! Молчал бы уж лучше! Возьмем-ка Боя да пойдем прочь!

— Ничего себе щенок, — ухмыльнулся мясник. — Ленивый, ненасытный пес. Я уже собрался тащить его на живодерню.

На живодерню! Я обхватил Боя за шею и начал кричать в дверь лавки:

— Ага, ленивый, ленивый! А телеги таскать — на это он вам не ленивый. Бедняжечка мой! Он сенбернар, он должен людей спасать, а вы его испортили своим мясом, потому что он мяса есть не смеет! Вы его нам испортили! Теперь он никогда уже не сможет быть спасателем!



Я чуть не ревел. Хотя все, что я говорил про мясо, было не совсем правдой.

Сенбернарам нельзя давать мясо только до года. Если бы их с детства напихивали мясом, они бы одичали, стали бы кидаться на лесных зверей и, вместо того чтобы спасти, стали бы охотниками. И охотниками очень опасными. Имея такую силу и страшные зубы, сенбернары отважились бы бросаться и на благородного зверя. И все-таки то, что я сказал мяснику, не совсем уж вранье, — просто Бою скоро два года и он уже совсем взрослый. И дома он тоже иногда лопаёт туристическую колбасу, если удастся ее стащить. Но когда я здесь, возле мясной лавки, представил себе, как Бой находит в горах обессилевшего раненого лыжника и спасает его, я немножко испугался. Не то чтобы я боялся, что Бой ему вцепится в горло, нет. Я боялся только, что Бой теперь начнет рыться у этого лыжника в рюкзаке и в карманах, нет ли там чего-нибудь мясного, и если ничего не найдет, плюнет и, разозлившись, уйдет. Было похоже, что теперь за мясо Бой способен сделать все, что угодно, даже возить окровавленную тележку, а без мяса не шевельнет и лапой.

Ну и покажу же я ему дома! Наверное, его придется посадить на цепь, пока у него из головы не выветрятся мясные пиршества. Для начала я посадил Боя на поводок. Это ему понравилось. Он играл с ним лапами и приплясывал на месте. Но когда я напялил на него намордник, он удивленно поглядел на меня.

— Видишь, — сказал я ему, — ты мог спокойно сидеть дома, как Страж, но теперь я заведу для тебя новые порядки.

Он сразу все понял. Но так как не привык из-за чего-нибудь страдать и волноваться, то смирился со своей судьбой и поудобнее развалился на мостовой.

— Ну, мы, собственно, можем двигаться, — сказал дядя Ярослав, довольный результатами дипломатических переговоров, и собрался идти.

— Не торопитесь, все не так просто. — Мясник заложил руки за спину и встал в позу Юрия Власова, собирающегося толкнуть 220 килограммов. — Если по закону, так по закону. Заплатите за его содержание пятьдесят крон и можете собаку забирать.

— Вы меня удивляете, — начал дядя дипломатически. — Но пожалуйста, если так, то давайте придерживаться буквы закона. Допустим, вы кормили собаку. Прекрасно, все мы были свидетелями, как честно наша собака свое питание отрабатывала. В течение двух недель пес был вашим работником, и по закону ему положена зарплата. Вы нам считаете за питание пятьдесят крон. Пожалуйста! Мы вам за его работу посчитаем сто. Я собирался вам эти деньги простить. Но если вы пожелали все усложнить, извольте выплатить нашей собаке пятьдесят крон мзды!

Бой слушал, и мне показалось, что он возгордился. Ха! Работник! А он вовсе не глуп, мой дядя Ярослав!

— Не сходите с ума, сударь мой, — понизил завмаг голос, он явно издевался. — Неужели вы действительно воображаете, что мы использовали собаку для работы? Для доставки мяса у нас есть машины, целая колонна грузовиков. Это тот бездельник, — он ткнул пальцем назад, в сторону своего помощника, — забавлялся с Вороном, они вместе возили небольшие количества мяса в привокзальный ресторан.

— Естественно, сударь мой, — ухмыльнулся дядя, — собака есть собака и десять говяжьих туш за один прием не дотащит. Да только поглядим на дело с другой стороны...

Они довольно долго препирались, а потом сошлись на том, что платить никто никому не будет. Завмаг в это время обслуживал покупателей, и они вместе с дядей перекидывались с покупателями шутками, а мне все это уже начинало надоедать. Когда я заглянул внутрь,

мясник угощал дядю новым сортом диетической колбасы.

— Уже иду, — кивнул мне дядя, — подожди на улице.

Дядя пришел не очень скоро. Мясник провожал его. На дорогу мясник дал нам полкило спишских сарделек, а Бою на прощание сказал:

— Если твой путь снова пойдет через Микулаш, заходи к нам, Ворон! Я угощу тебя молоком и овощами!

И захохотал во всю глотку. Дядя тоже засмеялся. Они пожали друг другу руки — две старые лисы, которые уважают друг друга за хитрость. Наконец мы двинулись в путь. Я видел по глазам Боя, как трудно ему не оглядываться на мясника. У него в душе шла страшная внутренняя борьба. Но Бой ее выиграл. Не оглянулся. Но что касается притворства, то из всех притворял он величайший притворяла. Правда, если можно извлечь из этого какую-нибудь пользу. А сейчас пользы для него не было никакой. Но по крайней мере не было и вреда, то есть затрецины. Такие вещи он отлично понимает.

Я и сам не пойму, как я могу любить такую дрянную собаку! \* \* \*

Я сидел в лесу, погрузив босые ноги в прогретый солнцем мох, и вдыхал лесные запахи. Мне неприятны были любые звуки и любое движение. С самого утра меня охватила какая-то странная грусть. Сначала я подумал, что это от голода, и поел. Потом мне вдруг стала мешать суета в доме. Я ушел в лес и принялся размышлять: кто же, собственно, меня обидел? Всякое, конечно, было, но ничего такого, что могло быть особенно неприятным. Наконец, среди этой полной сказочной тишины, я понял, что грущу просто так, ни по чему.

Зачарованный лес стоял молча, не шелохнувшись, но я не бежал к осине и не искал в небе самолет, который мог бы разорвать эту тишину, потому что мне было грустно и не хотелось ничего слышать.

Единственное, что я бы с удовольствием послушал, была Ливина губная гармоника. Пусть бы она сыграла «Аккорды в огне», и всё! И ни в коем случае «Маленькую девчонку»! Это пусть слушают разные идиоты в зеленых куртках. Мне совсем неинтересно, о чем можно было бы разговаривать с Ливой, если бы ей пошел семнадцатый год. Глупая песня... «Когда мне пойдет семнадцатый год — время мое придет...» Бред какой-то! Я сам себе готов дать по физиономии, вспоминая, как я выводил эти дурацкие слова писклявым голосом. Вечером спрячу пластинку под скатерть, чтобы наши туристы не завели. Или разобью, вроде бы случайно.

Первое, что я представил себе, когда солнце разбудило меня, были Ливины бриллианты. Как они выглянули из-под земли и стали обсыхать в паутиновых ладошках. Лива на них смотрит, смотрит, а потом видит, как они снова исчезают под землей.

Габулька долго вертелась под одеялом, потом, так и не проснувшись, поднялась — глаза у нее были полузакрыты — и прошлепала босыми ножками в другой конец коридора, где у нас находится одно заведение. Я наблюдал за ней через открытые двери. Вот она идет в длинной ночной рубашонке, очень маленькая, с длинными волнистыми волосами, почти такая же красивая, как лесная фея. Я боялся, как бы она не наступила на подол рубашки и не упала. Но она спокойно вернулась и все так же в полусне потихоньку закрыла двери. Тут она заметила, что я на нее смотрю.

— Ты не спишь? — спросила она тонким голоском.

— Сплю, — прошептал я. — Но мне снится такая прекрасная сказка, что я должен открыть глаза, чтобы ее увидеть.

Она уселась на моей постели, поджав холодные ножки под себя. Ее розовая рубашонка была разрисована гномами.

— Ну! — сказала Габуля и зажмурилась; это означало, что она готова слушать.

Я начал подсчитывать гномов на ее руках. Мы вместе с ней насчитали двадцать два.

— Сначала мы их прикроем, — я снял с себя лишнее одеяло и прикрыл Габку, — чтобы им не было холодно, ладно? Потому что если гномы простудятся, им придется лежать в постели. Кто тогда будет по утрам выносить бриллианты на воздух?

Габулька под одеялом встала на коленки, выпятила задик, голову положила на руку (в такой смешной позе она иногда спит) и с самым серьезным видом стала слушать каждое мое слово.

Я рассказывал ей все самое прекрасное, что только знал. Это была сказка про бриллианты: про ладошки из паутины, про жадных брезнян, про королеву бриллиантов (это была Лива, и она играла на маленькой бриллиантовой губной гармонике). Мне пришлось повторить сказку три раза.

За это Габка мне доложила, что Вок сегодня не пойдет на работу. Я и сам об этом догадался, увидев, что он не встает, но сделал вид, что очень удивлен, чтоб не испортить Габке радость. Меня гораздо больше интересовало, почему он не пойдет.

— А ты не зна-а-а-ешь? — вытаращила Габка глаза.

— Да, не знаю. Откуда мне знать, если меня здесь не было два дня.

— Потому что сегодня к нам приедут! Не знаешь?

— Кто приедет?

— Ты, наверное, знаешь.

Я не знал, а что еще хуже — не знала и Габка. Ей было известно только, что кто-то приедет. Но кто? Это было почти то же самое, как если бы она вообще ничего не знала. Ведь на нашу горную турбазу каждый день кто-нибудь приезжает.

— А что общего имеет этот приезд с Воком? — разозлился я.

— Как — что? — всплеснула Габка руками. — Ему написали!

Вот так да! Йожо кто-то что-то написал. Наверняка Яна. Ведь только она ему и пишет!

Ага! Вот почему вчера, когда мы с дядей Ярославом, громко напевая, ввалились в дом, нас встретили без восторга. Только Габка примчалась из лопуховых прерий и кинулась обнимать Боя. Она тискала его до тех пор, покуда из коридора не выскочил Страж и они с Боем не начали на радостях валяться и кусать друг друга. В доме все бегали как ненормальные. Но я решил, что это потому, что переполненная столовая гудит, как осиное гнездо, и нетерпеливые туристы то и дело стучат в кухонное окошко. В таких случаях самое разумное исчезнуть поскорей, да подальше, иначе тебя запрягут в работу и до вечера от нее уже не избавишься. Дядю Ярослава это, конечно, не касается. Он спокойно пристроился на кухне и принялся докладывать о нашем героическом походе. Он начинал раза три и, только увидев, что его никто не слушает, явился ко мне в пятнадцатую. Там мы разулись и умылись.

Лишь утром, когда Габка мне проболталась, что кто-то должен приехать, у меня в голове мелькнула догадка, что вчера в кухне целый вечер толкался Йожо и каждую минуту

приставал к маме и что-то говорил ей свистящим шепотом. По дороге в свою комнату я чуть было не споткнулся, налетев на него в коридоре. Они стояли там с отцом. Йожо держал отца под руку, и они договаривались о том, как куда-то поедут на «лимоне». Потом отец похлопал Йожо по спине и заторопился в столовую. И грязные ботинки из коридора Йожо куда-то утащил. И резиновые сапоги я не мог разыскать, когда мы отправились с Габкой приводить Боя в порядок.

Сначала мы вылили на него три ведра воды, а потом посыпали стиральным порошком, Габка велела Бою зажмурить глаза и намылила ему морду, а я — лапы и хвост. А потом мы вспенили на нем порошок. Бой стал очень послушным. Он все сносил покорно, как ягненок, и вел себя тихо до тех пор, пока ему не стало есть глаза. Тогда он вырвался от нас, сиганул в бассейн и опустил голову под воду. Но нам было уже все равно. Ведь пора было смывать с него мыло. Мы хохотали, глядя, как он ныряет, да еще покрикивали, чтоб он как следует ополоснулся.

Тут мы заметили, что от дома к нам мчится Йожо. Злой-презлой! Бой перескочил через бетонную стенку бассейна, поспешно отряхнулся и пустился наутек. Мы тоже хотели незаметно исчезнуть, но было уже поздно.

— Что тут творится? — закричал Йожо, красный от злости.

— А что? — дернул я плечом. — Купаем Боя.

— Посмотри на воду! — Он весь дрожал от негодования.

— Ой, — схватилась Габка за голову, — какая грязная! Одна грязь!

Ну и что же, что грязная? Ведь если Бой был грязный, не может же после него вода остаться чистой! Мне не нравится, что маленькие дети сразу же переходят на сторону сильнейшего. Так и наша Габа. Сама Боя намыливала и тут же готова меня ругать, чтобы подлизаться к Йожо.

— Эх ты, дурацкая башка, — лютовал Йожо. — Воображаешь, что бассейн — это лоханка для мытья грязных собак?!

— Бассейн с фонтаном — это украшение, — сказала Габка (интересно, откуда это у нее?). — Фонтан будет бить, когда его Вок откроет, а в бассейне будут плавать рыбки.

Я перепугался.

— Надеюсь, в нем нет рыбы? — У меня стало проясняться в голове.

— «Надеюсь, что нет рыбы»! — кричал Йожо. — «Надеюсь, что нет»... Надеюсь, что да! Четырнадцать штук форелей!

— И старушка там, — тыкала пальцем Габа. — Вот такая большая! Вок вчера поймал ее в сетку.

Ну как тут ей не влепить! Значит, она про все знала и не сказала ни слова. И разрешила Бою засвиначить всю воду. Я подскочил к бассейну и начал высматривать старуху форель. Но только бассейн маленький, а Бой большой. Он так замутил воду стиральным порошком, что ничего в ней нельзя было разглядеть.

— Я надеюсь, они не сдохнут? — испугался я.

— Попробуй ты наглотаться мыльной воды, тогда увидишь! — отрезал Йожо, разулся и вошел в бассейн, чтобы открыть сток.

Через час старуха форель уже была хвостом по зеленому дну бассейна. Честное слово, она была больше полуметра! Йожо два раза окатил дно из шланга и напустил рыбам чистой воды. Чтобы Яночка могла их видеть, хи-хи!

А потом Габка заявила, что Бою купание мало помогло. Все равно в его чистой желто-белой шубе разгуливали огромные собачьи блохи. Им не страшен ни порошок, ни купание. От них ничто не спасает, кроме керосина.

Под вечер нам пришлось пойти по малину. Это верный признак того, что близится учебный год. К концу каникул мама начинает варить варенье и малиновый сироп для тети Могиловой, у которой живет наш Йожо в Штявнице. И Владо уже укатил на своем розовом автомобиле. Они говорили, что не прочь взять меня дня на два к себе в Братиславу, но заговорили об этом почему-то, когда я был в Микулаше, и уехали без меня. Ну и пусть! Братиславу я бы, конечно, хотел посмотреть, да только Владо я все-таки терпеть не могу. А если я кого-нибудь не люблю, мне совсем не хочется вместе с ним видеть новые, интересные места. Я могу смотреть на Дунай, и на Град, и на всякую другую красоту, но мне ничего не нравится, потому что по прекрасным местам меня водит человек, которого я не перевариваю. А если я кого-нибудь люблю, то этот человек может мне даже не показывать капли росы в паутине, а только рассказывать про них, а я уже даже во сне вижу переливающийся бриллиант на ладони у карлика.

Я не такой, как моя мама: она любит всех и не умеет ни на кого сердиться. Вот и вчера она сварила варенье не только для тети Могиловой, но и для тети Тильды. За что?! За оскорбление и сто крон! Ведь эта глупая гусыня может вообразить, что это в благодарность, и пришлет маме две кроны на чай, элегантно упакованные в деревянную коробочку. И когда только мама успела сварить варенье? Ночью! Потому что днем у нее не хватает времени.

Когда утром я помогал ей завязывать банки, я сказал все, что думаю.

— Но ведь это же для Иветты, — ответила мама, как обычно. — Будет мазать на хлеб, бедняжка.

А дядя Ярослав со вчерашнего дня пристаёт к маме, чтобы она попросила моего отца взять его на работу на нашу горную турбазу. Мне бы он не помешал. Сходили бы вместе под Гаплик, поискали старые рудники. Но что дядя сможет у нас делать (я имею в виду настоящее дело, как у отца, мамы, Юли, Йожо), этого я себе не представляю. Дядя говорит, что осенью он мог бы сопровождать иностранных охотников. Говорит, что эти иностранные господа хотят не только поесть и поспать (это им обеспечат наши), но после ужина еще и побеседовать с интеллигентным человеком из местных. А для этой цели отцу трудно будет подобрать лучшего работника, чем дядя Ярослав. Это занятие, конечно, не самое плохое, но, по-моему, все-таки ерундовское, хотя дяде вполне хватило бы зарплаты 1200 крон в месяц.

Мне стало жалко маму, когда я представил себе, как она будет просить отца. Но она сама нашла выход.

— Об этом надо справиться в «Туристе», Ярослав, — сказала она дяде. — Мы ведь только сотрудники. И хотя мой муж заведующий, но вопроса о найме рабочей силы он не решает.

Дядя задумался.

— И еще... — продолжала мама. — Что Иветка будет делать в Мартине без тебя?

Про тетю Тильду она и не вспомнила. Хорошо хоть так. Но варить для нее по ночам варенье нечего! Пусть сами заботятся о варенье для своей Иветты. У моей мамы и без них работы хватает. У нее нет даже минутки свободной, чтобы, как я, посидеть на теплом мху. А если она хоть ненадолго освободится, то идет окапывать бенюшский картофель или берется мыть

стекла на веранде, а в окнах семьдесят два переплета!

Ливина мама не работает на горной турбазе кухаркой. У них есть повар. Ливина мама надевает красивые техасы и отправляется в канцелярию выписывать счета. А когда осенью ей наскучат вечные туманы, она садится и едет в Песчаны навестить Эсту, которая учится в школе на официантку. И Ливу в Брезне. Но ненадолго.

Может быть, сейчас Лива играет на гармонике. И если б было еще тише, я мог бы услышать, как она выводит: «Я люблю играть на банджо, я играю соснам, играю и серым скалам, я аккорды швыряю в огонь...»

Ах, какая это все чепуха! Я не могу ее услышать. Не могу услышать, я знаю это отлично! Но как бы мне хотелось!

Я растянулся на душистом мху и разглядывал кусочки неба между стволами деревьев. Если б со мной была хотя бы тетрадка Вока со стихами. С каким удовольствием я перечитал бы их снова! Не все, а только некоторые я прочел бы с большим удовольствием. Например, «Завывает печаль в кронах, ползет, ползет черный гад».

Мне уже давно понятно, что черный гад — это тоска. Все вокруг черное, грустное...

И новые стихи я бы охотно прочитал, те, которые появились, когда Вок не смог поехать в Ружомберок. Они мне очень нравятся. Лучше, конечно, если б я сам написал стихи. Но только я не могу, потому что не умею. Но если бы я когда-нибудь научился их писать, мне вовсе не хотелось бы, чтоб в них рылась Габка или кто-нибудь другой.

Я тоже никогда больше не стану читать стихи Вока — только если он сам даст.

А это значит никогда. \* \* \*

— Сегодня мы будем спать в комнате предков, на полу, — сказал мне Вок. — Пятнадцатую надо освободить.

— А почему?

Йожо ничего не ответил, но я и без него прекрасно знал, почему. Потому что приедет Яночка со своими родителями, а все комнаты заняты. Могу себе представить, как мама про себя восторгается, что ее Йоженька нашел себе такую порядочную девушку. Ха! Порядочную! Захочется ей — напишет письмо; не захочется — не напишет. Да только мама имеет в виду совсем другое, хотя бы то, что Яну не пускают одну лазать по горам. Наша мама жалеет всех родителей, у которых дочери ночуют в палатках вместе с мальчишками.

Я и сам однажды пожалел одну такую (не родителей, а ее), когда совсем поздно вечером она прибежала к нам в дом с сумочкой в руках, полуодетая, и попросила отца, чтобы мы пустили ее переночевать. Я слышал, как она плакала на кухне и что-то рассказывала маме. А самое отвратительное, что утром к дому явилась целая ватага ребят и девчонок. Сначала я и сам смеялся, когда они грохнулись на колени и стали нараспев выводить: «Явись нам, о святая Орлеанская дева!» Но когда девушка вышла и даже улыбнулась, они принялись швырять в нее ее вещами так, будто это были камни. Я обозлился и побежал искать Йожо, чтоб он им дал как следует. Но только вдруг ни с того ни с сего на них заорал кто-то из своих же ребят. Он взял и уехал вместе с этой девушкой.

Я понимаю, это был просто розыгрыш, но, по-моему, если кто-то плачет, нужно прекращать всякие шутки, потому что это уже не веселье, а тоска.

Но мне все равно не ясно, почему нужно жалеть родителей. Между прочим, когда ребята сидят вечером возле костра и до самой ночи поют песни, я начинаю им завидовать, а мама

уговаривает отца, чтобы он не прогонял их.

Но только Йожина Яночка — это дело другое! Маменькина дочка со слюнявчиком (у нашей Габульки еще сохранился один такой), такая в палатке ночевать не может. Тсс! Еще козявка в ушко заберется. Вот мы какие кисоньки!

Я просто умираю от любопытства, что это за явление.

— Давай пошевеливайся! Понесем матрасы с чердака, — подгонял меня Йожо. — Юлька хочет перенести нашу постель из пятнадцатой.

Он еще будет командовать. «Юлька»! Наша Юлька по уши втрескалась в своего летчика и для Йожо расшибется в лепешку, потому что воображает, будто он тоже влюблен. Очень возможно, что так оно и есть. Если судить по стихам, то по уши и до самой смерти. Я отправился в комнатку родителей. Как мы разместимся здесь втроем на полу? Я стал измерять пол шагами и помешал Иветте писать письмо «дорогой мамочке», но тут зазвонил телефон. Я поднял трубку.

— Алло, кто там? Отвечайте! — кричал на меня кто-то генеральским голосом, и я тут же узнал моего одноклассника Дэжо Врбика из Мыта.

— Главный штаб партизанских войск генералиссимуса Дюрая Трангоша слушает! — заорал я в ответ, и мы оба захохотали.

— Как вы поживаете, генералиссимус? — продолжал Дэжо дальше по-русски, и я уже готовился ему по-русски отвечать, когда Дэжо вдруг снизил голос: — Отец идет. Вам телеграмма. Потом позови меня опять!

Телеграмма была короткая, но очень важная.

— Адрес: «Трангошу Йозефу», — диктовал почтмейстер. — Текст: «Больна не приедем». Подпись: Яра, не то Юра, не то Яна. Отправлено из Ружомберока в 11.05 Записал?.. Как поживает отец? Передавай привет.

Я ответил телеграфным языком:

— Уже записано. Отец поживает хорошо. Привет передам. Дядя, позовите мне, пожалуйста, Дэжо.

Я ничего не записал: это вполне естественно. Такую телеграмму запомнит и обыкновенный фокстерьер, а фокстерьеры, как известно, самые глупые собаки. Главное, что ее запомнил Йожо. Больна! Ну, что я вам говорил? Подул на меня ветерок, Не жди меня, дружок.

Ага! Стихи! А ну-ка попробую дальше: У меня мокрый носочек, Готовь мне, Йожо, платочек.

Нет, очень глупо! Глупо и то, что я смеюсь. Добро бы, мне было смешно, так ведь не смешно же вовсе. Да и что тут смешного? Яна заболела. И Вок будет ходить грустный. Ничего смешного в этом нет. Смешно было только, когда Дэжо разговаривал со мной по телефону по-русски: «Как поживают ваши солдаты?» По русскому языку у него двойка, но просто поболтать по-русски он умеет отлично.

Опять зазвонил телефон.

— Довольно, товарищ хулиган! — закричал я. — У меня-то по русскому четверка.

— Представь себе, — сказал Дэжо уже по-словацки, — послезавтра приедет Квачка!

Квачка — это наша учительница Квачкова. Она снимает у почтмейстера мансарду. Но нас, к сожалению, не учит.

— Она должна являться за неделю до начала занятий, представь себе!

— Представь себе, — начал я его передразнивать, — что меня одолевают сомнения, не отправиться ли мне на недельку в Братиславу, представь себе!

— А мне, представь себе, в Прагу.

— Но меня одни тут хотели взять с собой в Братиславу, прокатить на розовом «Спартаке», представь себе. Факт!

— А за мной прилетали прямо из Пражского кремля на серебряном самолете, представь себе!

— Ну и поезжай, балда!

— Только после того, как ты съездишь, тупица!

Потом мы еще некоторое время великолепно, ну просто великолепно переругивались, пока Иветта не зажала уши и не выскочила вон из комнаты.

— Воздух очистился, — сказал я нормальным голосом.

— А кто там у тебя был?

— Да двоюродная сестра.

— Которая? — ахнул Дэжо.

— Не бойся, не Зуза.

Ему в прошлом году очень нравилась моя двоюродная сестра Зуза из Бенюша. Дэжо готов бегать за каждой юбкой, потому что он девчатник. Сколько он мне нарасказывал про девчонок из Мыта! Но, по-моему, это такая же правда, как серебряный самолет и Пражский кремль.

Когда Дэжо в прошлом году увидел у нас Зузу, то полдня ходил красный как рак и позабыл сразу все языки, не только словацкий или русский! Герой! А потом в школе хвастался, что летом бегал за одной девчонкой. Это он имел в виду нашу Зузу. Х-ха-ха!

— Передай ей от меня привет, — начал он опять выхваляться.

— Кому? — спросил я.

— Ну своей сестрице.

— Передам! Ей три года. — Я специально наврал про Иветту.

— Ну и? — соображал Дэжо. — А ты разве не любишь трехлетних детей?

Выкрутился, негодник!

— Послушай, Дюро, — снизил Дэжо голос и, наверное, прикрыл рот ладошкой. — Принесешь?

— Еще не знаю.



— Как, то есть, не знаешь?

— Но у меня еще этого нет.

— А будет?

— Не знаю наверное.

— Послушай, может, тебе уже на все наплевать?

— Нет, не наплевать. Только у меня пока еще этого нет.

— Так ты кто, друг или тряпка?

— А ты тапочка!

— А ты онуча!

— А ты военный сапог!

— А ты цыганская туфля!

И мы начали опять. Мы ругались как только умели. А потом мне вдруг пришла в голову мысль: если нас кто-нибудь слушает, догадается ли он, что это беседуют лучшие друзья? Неизвестно. Ха-ха!

Когда мы перечислили всю обувь, которую знали, тапочки и онучи, Дэжо принялся за животных. Мы дошли до шакалов, и я собирался обозвать его гиеной, но тут в комнату вошла Юля. Я быстренько перешел на русский язык, чтоб она ничего не поняла. А так как я не знаю, как будет гиена по-русски, то вернулся к началу разговора:

— Не беспокойся, все будет. У нас еще семь дней времени.

— Что значит «семь времени»? — продолжал дурачиться Дэжо. Да только, наверное, вошел его отец, потому что он вдруг сказал нормально: — Значит, договорились, генералиссимус?

— Договорились, пижон. — И я положил трубку.

Юля сердилась, что я еще не принес матрасы.

— Сделай одолжение и отнеси простыни обратно, — сказал я. — Визит отменяется. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь. А если не станешь спешить, то не будет надобности вообще таскать матрасы...

Йожо поначалу не хотел мне верить. Пошел в комнатку, заперся там и сам позвонил почтмейстеру. А потом ушел в лес. Когда он проходил мимо Марманца, где мы с Габкой сидели на лавочке и ели хлеб с маслом и луком, то нарочно засвистел. Но я смотрел на него и видел, что он поднимается в гору медленно и тяжело, совсем как заболевший олень. Когда олень захворает или его ранят охотники, он не корчится от боли и не стонет, чтоб его все звери жалели. Он уходит из стада и один бредет в лес. Там он отыскивает себе укромное местечко, чтобы никто ему не мешал и не беспокоил, ложится и ничего не ест, только тихо лежит и ждет своего последнего часа. Иногда случается, что он выздоравливает. Но только не зимой и не в дождливую погоду. И вообще это случается очень редко. Но если оленю все-таки улыбнется счастье и он почувствует, что его последний час еще не пробил, он начинает медленно объедать траву вокруг себя. А когда может уже подняться на ноги, то еще некоторое время пасется один. И лишь набравшись сил, вновь возвращается к стаду.

Я не такой герой. Когда у меня однажды зимой болел зуб, я так орал, что мама целую ночь

делала мне припарки и грела в мешочке соль...

Я оставил Габке пол-луковицы. И пустился в лес вслед за Йожо. Интересно, индейский вождь Винету выследил бы Сиюкса в таком густом лесу, как у нас за домом? Огромная площадь, и никакой тебе ботаники, только сухая хвоя, на которой разъезжаются ноги. Выследил бы, если б Сиюкс, как наш Йожо, ни разу не поскользнулся и не оставил никаких следов? Пожалуй, и у Винету ничего бы не вышло.

Прошло уже полчаса, а я все еще перебегал от дерева к дереву и в который раз вспахивал носом землю. Тогда я решил вернуться домой, но только другим путем. И тут на прогалине заметил Йожо. Он лежал, подперев голову руками, и лениво обрывал черные бусинки черники.

Я собрался уйти из лесу.

— Ты не видел Боя? — обратился я к нему.

— Чего? Боя? Не-а! — помотал головой Йожо совсем как наш учитель Фукач, который сначала смеется, а потом дает взбучку. — Ну как, сегодня ты не тренируешься в беге? Или у тебя тренировка, только когда дождь идет, а?

Вот так раз! Что, у меня прозрачная голова, что ли? Или люди уже научились читать мысли? Как это Йожо разглядел, что у меня скрывается в самых потайных извилинах мозга? Не хватало еще, чтоб он в моей голове обнаружил свои собственные стихи. Правда, только этого мне не хватало!

Я посмотрел на него. Он оскалил черные зубы и на черный язык медленно положил черничину. Нет, ни шиша он не знает! Иначе он мог бы заметить, что я всегда за ним приглядываю, когда его Яночка выкидывает какой-нибудь очередной фокус.

Ну и что с того? Ведь я ничего не говорю и не спрашиваю. Только не оставляю одного. Разве запрещено ходить за братом, если ему грустно? Я думаю, что такого запрещения никто не издавал. Даже сам Вок.

— Может, хочешь? — Он ткнул пальцем в черничник.

Я улегся с другой стороны куста и тоже подпер голову рукой. Прогалина, на которой мы находились, была высоко, обрыв под ней круто падал в глубокую пропасть. Там внизу едва виднелись вершины елей. Если ель старая, то у корней она может подгнить. Особенно если деревья стоят плотно друг к другу. Нижние ветви обычно бывают уродливыми и сухими. Но вершины деревьев всегда прекрасны. На самых макушках качаются молодые багровые шишки. Они раскачиваются из стороны в сторону, и если б одна из них зазвенела, как серебряный колокольчик, то, наверное, сразу посыпался бы снег и наступило рождество.

— Знаешь, а зима будет суровая! — сказал я Воку.

— Не знаю.

— А я знаю. Будет суровая здесь, у нас, это уж обязательно.

— А в других местах?

— Про другие места не знаю. В Ружомбероке, например, может быть, будет только слякоть.

— Ну и что? — протянул Вок совсем как учитель Фукач.

— Ничего! Но здесь у нас снегу будет ого-го!

— Что ты хочешь сказать своим «ого-го»? — усмехнулся Вок. Он начал подтрунивать надо мной совсем как Дэжо Врбик.

— Этим я хочу сказать... — остановился я, — хочу сказать, да вот боюсь Молчаливого Волка...

— Смелей, смелей, укротитель микулашских мясников! — засмеялся он.

— А то, что на рождество к нам могла бы приехать Яна кататься на лыжах!

И тут же прикрыл голову руками, словно испугавшись оплеухи.

— Неплохо придумано, капитан, — сказал Вок басом.

Потом поднялся, размял затекшие ноги и совсем как выздоровевший могучий олень кинулся к дому.

Я, конечно, следом за ним. \* \* \*

Вот и уехали дядя Ярослав с Иветтой, разъехались все туристы, которые брали с собой детей. Дядю Ярослава утром захватил желтый автобус. Это была фабричная экскурсия (фабричный желтый автобус развозит рабочих с текстильных фабрик на экскурсии). Отец с ними договорился, и маме пришлось быстро собирать Иветту. Дядя радовался, что может ехать бесплатно, но уезжать ему не хотелось. Он тут же начал убеждать шофера, что вечером мотор тянет лучше да и на дорогах не такая давка. Шофер смеялся, что, дескать, не он распоряжается машиной, не он решает, но догадывается, почему так торопятся с отъездом женщины: ведь им надо еще выгладить своим детишкам пионерские галстуки на завтра в школу.

— Где это видано, — возмущался дядя Ярослав, складывая вещи, — уезжать с гор утром! Да еще в такой погожий денек! Понимают они природу!.. Явятся, наедятся, напьются, отоспятся — и домой. Вот и все, что им нужно!

Он ворчал и ругал весь мир и всех тупых и некультурных дураков. А наша мама поддакивала, чтоб он не подумал, будто мы пляшем от радости, что они наконец уезжают.

Мне больше всего нравилось, как дядя рвется к своей Тильдушке! Так рвется, так рвется, что готов залезть в малинник, как наш Бой, чтоб о нем позабыл и отец и все шоферы всех фабричных автобусов на свете, и вылезти оттуда только в октябре, когда начинают реветь олени и иностранные туристы заказывают после ужина вино и интеллигентного собеседника из местных. Тогда дядя Ярослав с отросшей седой бородой вылез бы и начал плести небылицы, которые придумал, сидя в малиннике. Я и сам охотно бы его послушал.

Но тут я услышал, как взревел автобус, увидел бегущего дядю Ярослава с чемоданом в руках (Иветта уже давно сидела в автобусе) и успел лишь помахать ему рукой на прощание.

Жаль. Жаль, что мы так и не заглянули в заброшенные копи под Гапликом.

— Бедняга, — сказала мама, — не позавидуешь человеку, который болтается без дела.

— Как волка ни корми, он все в лес смотрит, — махнул отец рукой и вошел в дом.

— Кто знает, — продолжала мама, — имей он работающую жену...

— Один лентяй, а другая лежебока, — сказал отец безжалостно. — А твой Ярослав переплюнет даже самого дядюшку Солнока, — засмеялся отец.

Дядюшка Солнок — знаменитый дед из Штявницы. Прославился он тем, что за всю свою жизнь проработал только один день секретарем у какого-то графа. Взяли его играть с графом в карты. Утром дядюшка Солнок приступил к своим обязанностям, сел играть, а вечером его уже прогнали. Почему? Да потому, что дядюшка Солнок все время выигрывал! А с графом надо было играть так, чтобы выигрывало только их сиятельство. «Ну и ищите себе другого! — крикнул на прощание дядюшка Солнок. — Я честный игрок, а не ваш прихлебала!» Сгрэб свой выигрыш, взял плату за день работы и хлопнул дверью. Мы помирали со смеху всякий раз, как дядюшка Солнок рассказывал нам эту историю, а рассказывал он ее раз двадцать. Отец прошлой осенью, когда лили дожди, привез его к нам из Штявницы и целых три недели резался с ним в карты. Папе дядюшка Солнок был по душе. Он собственноручно носил ему каждый вечер кашу — дядюшке было без малого девяносто и зубов уже не осталось ни одного. А зимой дядюшка Солнок умер, и отец ездил в Штявницу на похороны.

Дядюшку Солнока отец никогда не называл лентяем. Может быть, потому, что любил его, а дядю Ярослава нет.

— Дядя Ярослав тоже станет знаменитым, если целую жизнь проживет без работы, — сказал я.

— В нынешние времена так прожить — невелик фокус, — не согласился отец, — теперь это каждый может. А ты лучше о школе думай. Вот твоя работа!

И я без школы мог бы прожить. Не знаю, всегда ли, но уж месяц-то запросто.

— Ой, что-то пусто стало у нас на кухне, — вспомнила мама дядю Ярослава, ставя на плиту суп. И, глянув через окно в столовую, отлила из большой кастрюли добрую половину.

Столовая была почти пуста. Только на террасе в шезлонгах сидели несколько человек. Отец пришел из конторы и сказал маме, сколько надо на сегодня обедов, и она отлила еще литра два. Потом нарезала мясо для ромштексов, села и спросила:

— Как ты думаешь, Юленька, могу я сходить под Шпрнагель взглянуть на свой картофель?

Юля ведь тоже из Бешоша, но картошка ее не интересует. Ее интересуют только летчики.

— Конечно, идите, — засмеялась Юля. — Можете прийти к самой раздаче. И так делать нечего.

Строит из себя работягу, а сама не больно любит работать. Засядет в своей комнате и давай считать деньги, хватит ли ей на приданое. Или вяжет салфеточки.

Мама оделась, собрала наше семейство, и все мы дружно отправились к Шпрнагелю. Я остался, сказал, что буду помогать Юле чистить картошку. Все очень удивились, но меня оставили.

Я никак не мог уйти. Это, конечно, нехорошо, потому что прогулка была затеяна в честь прощания с Воком, ведь после обеда отец отвезет его в Штявницу. И все-таки уйти я не мог, ведь Шпрнагель совсем в другой стороне, чем Партизанская хата. Эста и Лива, конечно, могут спуститься и через Млынскую долину, но что если вдруг они пойдут мимо нас? Нехорошо, если никого не окажется дома. Что они подумают? Раз в год заглядывают к нам — и то никого нет дома.

Я взял картошку, сел к окну и стал действительно помогать Юле. Мы говорили с ней о наших диких кошках, которые живут в зоопарке, потом перешли к тем, которых принесет Жофия. Вот уже несколько дней ее нет дома. Наверное, опять заговорил в ней голос предков, и она неизвестно куда исчезла.

— Лучше всего, — рассуждала Юля, — уже сейчас написать в Братиславу. Пусть за ними приедут.

— Не бойся, — я сразу догадался, о чем она думает, — он и без письма явится. Мы ведь не знаем точно, когда котята появятся на свет.

Кто знает, вернется ли Жофия вообще. Может, на этот раз дикие сородичи уговорят ее, и она останется с ними навсегда. Я бы порадовался за нее. Да только не знаю, как она переживет зиму, ведь в норах в лесу печек не бывает.

— Ты слушал сегодня радио? — Юля подняла слезящиеся от лука глаза. — Восемьдесят человек вместе с самолетом упали в море. Ни один не спасся.

— Не волнуйся, — утешал я ее, — у нас в Словакии нет моря. Зря ты ревешь, такого у нас не может случиться.

Юля засмеялась и накрошила лук в сало. Оно зашипело на сковороде, а Юля умылась, встала напротив меня и загадочно улыбнулась.

— Больно много понимать стал, — сказала она, покачав головой. — Ох, Дюро, что только из тебя будет!

— Ну как, писать в Братиславу? — спросил я с невинным видом.

— Не надо, сама напишу, — созналась она наконец.

Потом мы стали выяснять, что я думаю про ее летчика.

Я сказал, что он парень подходящий. Юля очень беспокоится, как бы его вдруг не увела какая-нибудь другая девчонка, ведь он такой красивый. Я ее успокаивал. Пусть не боится, не такой уж он красавец, а тут еще его наши котята ободрали, и он стал совсем страшный и теперь наверняка никакой девчонке не понравится.

— Интересно посмотреть, какую красотку подхватишь ты, — сказала Юля.

— Меня бабы не интересуют! — отрезал я.

— А как по-твоему, Эста из Партизанской хаты красивая?

— Не знаю, не обращал внимания.

— С ней родителям хлопот не обобратся. Еще семнадцати нет, а у нее уже кавалер. Ондрей, их официант. Потому-то ее и отправили на все лето в Татры на практику, подальше от дома. Чтоб позабыла его.

— Вот это да! А я и не знал. А почему ей надо забывать Ондрея?

— Потому что он Эсте не пара, — фыркнула Юля. — Для нее пара доктор или инженер, а не какой-то официант!

Ну и бред собачий! На что ей врач или инженер, если она сама будет работать на турбазе?

— А их младшая будет красавицей. Она и сейчас уже штучка. И с ней тоже хлопот не оберутся.

Если наша Юля начнет сплетничать, ее не остановишь.

— Знаешь что, — сказал я, бросив чистить картошку, — я сбегая к ручью на минутку...

— Так, значит, младшая тебе не нравится? — продолжала нудить Юля, словно не слыша.

— Я буду здесь, возле дома! — крикнул я из коридора. — Если кто придет, позови.

— А кто может прийти? — высунулась Юля из кухонного окна.

— «Кто, кто!» Наши! — огрызнулся я на ходу.

Так я тебе и сказал, держи карман шире.

Ни к какому ручью я не пошел. А полез вверх, откуда сквозь редкий кустарник хорошо видна Партизанская долина.

Мне просто надо было уйти от Юли. Надоело разговаривать. Воображает, что только она одна на целом свете хорошая, а у всех остальных девчонок ветер в голове. Даже у бедняги Ливы, которая с первого сентября только еще пойдет в седьмой класс. Я вовсе не обязан слушать ее глупости! Для Юли каждая девчонка — штучка, если она не сидит, как квашня, и не вяжет эти отвратительные салфетки. Каких таких хлопот с Ливой не оберутся? Ну каких?..

Время уже близилось к обеду, когда на голом склоне под Партизанской хатой я разглядел четыре фигурки. Они были такие крохотные, что, не будь одна из них в белом, я бы и не заметил их на буром склоне. Приходилось не спускать с них глаз, потому что я только разок глянул на самолет татранской авиалинии и тут же потерял их из виду. Я весь вспотел, пока наконец разыскал их чуть ниже на склоне. Они спускались к нам! Но только страшно, страшно медленно. У меня еще было время сбегать за отцовским биноклем.

Я сейчас же возвратился назад и, запыхавшись, навел бинокль на Дюмбер. Я брал подъем сажеными прыжками, руки у меня дрожали, а сердце стучало в самых висках. Но их уже нигде не было. Может быть, я ошибся?

Я опустил руки и сделал три глубоких выдоха, как Йожо после тренировки. Потом снова навел бинокль, и вдруг в стеклах расплылось белое пятно, окруженное радужной рамкой. «Вот балда!» — обругал я сам себя и стал медленно крутить шершавое колесико. Радуга стала исчезать, пятно становилось все отчетливее, и вдруг я увидел белую рубаху: она была напялена на каком-то парне. Он постепенно удалялся, и когда от него остался один лишь черный чемодан, в круге наконец появилась Лива.

Она шла опустив голову. Но я сразу узнал ее по светлым волосам. Солнце ярко освещало их, и у Ливы на голове словно сверкала корона из тех самых бриллиантов. Лива взбиралась на гору медленно и беззвучно. Она уже начала исчезать из моего круга, но я не выпустил ее. Я вел бинокль за светлыми волосами и очень хотел увидеть ее лицо! Я хотел посмотреть в ее лицо и чтоб она тоже на меня посмотрела. Но Лива все шла и шла. И тогда я тихо сказал:

— Лива!

Она подняла голову и оглянулась.

— Ливочка! — сказал я еще раз, и тогда она посмотрела прямо на меня.

Я замер и опустил бинокль. Все фигуры сразу исчезли. А невооруженным глазом я их найти не мог. Я засмеялся: как мне могла прийти в голову мысль, что она меня слышит? Но ведь она действительно оглянулась, как будто ее окликнули...

Я снова нашел Смирновых. Третьей шла Ливина мама, а четвертой — Эста. На нее я посмотрел повнимательней, но ничего интересного не увидел. И никакой Ондрей ее не провожает. Я поглядел на трубу Партизанской хаты. Может, Ондрей там стоит и машет ей на прощание. Очень жаль, но никто не махал. Я снова отыскал парня в белой рубашке с

чемоданом на спине. Это был не Ондрей.

Лива шагала легко и ритмично, будто и не тащила вовсе на спине большой рюкзак. Я долго не мог разглядеть, что привязано к рюкзаку. Но когда ее мама что-то поправила у нее на спине и Лива повернулась ко мне боком, я увидел, что под рюкзаком свободно болтается темно-синяя юбка в складку, а выше, на плечиках, висит белая блузка. Наверное, чтобы не измялись в рюкзаке. На Ливе были надеты длинные черные брюки и красная тенниска.

Тогда я придумал такую игру: навел бинокль на Ливу и стал с ней разговаривать (все равно она меня не услышит).

— Привет, Лива, как поживаешь?

Мне показалось, что она дернула плечом. Как может поживать человек, если он идет в школу?

— Представь себе, я тебя здесь с утра поджидаю.

Нет-нет, не так, я поправился. Лучше вот как:

— Представь себе, я тебя вижу!

Лива продолжала молча шагать в кругу окуляра. Ее совсем не интересовало, что я смотрю на нее. Она шла, чуть согнувшись, поддерживая руками рюкзак.

— Тяжело, Ливочка? И как они могут заставлять тебя тащить такую тяжесть?!

Я подумал: может, мне пойти и помочь ей? Но как? Я не уверен, что она согласится. Насколько я ее знаю — едва ли.

— А гармоника у тебя с собой, Лива?

Она мотнула головой. Я так и не понял, да или нет. А почему бы нет? Ведь не обязательно играть во время уроков.

Она вдруг остановилась, повернула голову против солнца и подняла нос, словно любопытная серна, почуявшая опасность.

— Лива, Лива, серна пугливая...

Ее уже все обогнали, а она все стояла, словно изваяние. Потом достала что-то из кармана и высоко подняла руку. Что-то сверкнуло, заискрилось, как огромный бриллиант.

— Чем ты светишь, Ливочка?

Зеркальцем! Она поймала солнышко и бросила его в долину! Я поскорей посмотрел Ливе в глаза, чтоб понять, куда она глядит.

На нас! На наш дом. Это мне она посылает солнышко, пойманное зеркалом. Может быть, прямо в окно нашей пятнадцатой.

Я кинулся к дому.

«Постой там еще минутку, Лива! Я поймаю твое солнце, вот увидишь. И pošлю обратно большим Юлиным зеркалом! Постой там еще!»

Я вбежал в дом, но меня задержал отец, и мне пришлось тащить с ним в машину ящик с бутылками малинового сока и вареньем. Я очень спешил и небрежно поставил ящик на дно

машины. Бутылки зазвенели. Этого отец не выносит. Еще по дороге он злился, что я так ужасно спешу. А я еще, как назло, раза два толкнул его ящиком.

— Куда смотришь! — сказал он строго. — Гляди сюда, это тебя кормит!

Когда отец так говорит, значит, придется все начинать заново. Отец любит, когда дело делают не спеша и основательно. Потому что, дескать, человек, который не умеет работать с душой, ничего не стоит. Мы подняли ящик снова, и я уже думал, что надо будет тащить его обратно в погреб. Я мгновенно продемонстрировал сосредоточенность и чертовски медленно поставил ящик в машину.

— Вот видишь, — успокоился отец.

А я прирос к земле, потому что знал, что, пока отец взглядом мастера не проверит работу, удирать бесполезно. Не успел бы я добежать до дому, как раздалась бы команда «кругом!». И потому я держал марку.

— Принеси одно одеяло, Дюро, — отец встряхнул ящик, — нужно переложить бутылки.

Я понял, что могу бежать. Бежать по приказу — это ценится высоко.

Ливинового зайчика в нашей комнате не было. Они уже, наверное, спустились в долину и начали первый подъем. Ну ладно, не беда. Через часок будут здесь.

Я взял одеяло. По дороге вынул бинокль из резинового сапога и, прикрыв одеялом, пронес его в отцовскую комнату.

Когда я шел через кухню, Юля лукаво пнула меня локтем. Мама уже выдавала обеды. Йожо, еще не одетый, сидел у Марманца, а Габка примостилась у него на коленях. Пальцы у Йожо печально торчали из тапочек, но сам он казался веселым. Йожо редко бывает веселым, и то, что он веселится в тот день, когда уезжает от нас, мне совсем не понравилось. Я знаю, что он ждет не дождется, когда наконец увидит свою Яну в Штявнице, но это еще не значит, что надо хохотать во всю глотку.

Мы с отцом пристроили ящик и пошли обедать. Есть совсем не хотелось; я наскоро покончил с едой и собирался умчаться к ручью. Ненавижу эти торжественные обеды! Отец важно разговаривает с Йожо, Габа к нему липнет, мама подсаживается к Йоженьке с другой стороны, а Юля вдобавок ко всему подает им черный кофе. Мне, конечно, кукиш с маслом. Мне этот кофе не больно нужен! Даже псы и те с двух сторон жмутся к Йожке. И получается дурацкая картина, как те пирамиды, которыми нас в прошлом году целых два месяца мучил Фукач. Мы должны были ехать в Брезно выступать, но поехали, как говорится, с печки на лавку, потому что на последней репетиции на нас напал смех и мы рассыпались во все стороны. Получилась куча мала, а не живая картина. Я был в самом низу, и на меня свалился Дэжо Врбик и еще трое, к счастью тоже не тяжелые. Сейчас нашему Йоженьке на колени должна была б вскочить Жофия, на плечи — курочки, а на голову — Крамбуля с цыплятами. Я бы продавал билеты, а Лива с мамой и Эстой были бы зрителями.

Ну разве не лучше перекусить наскоро где-нибудь на природе под Марманцем?

В коридоре слышались тяжелые шаги. За ними — чьи-то более легкие. Я прилип к стулу. Все наши сидели, словно аршин проглотили. Во даем! Ну и семейка! Сначала подьемим все, что есть на столе, а когда надо встречать гостей, сидим как дураки.

К счастью, Юле пришло в голову выглянуть в коридор. Она взвизгнула, всплеснула руками и с воплями бросилась встречать Смирновых. Тут наконец поднялась и мама и довольно глупо воскликнула:



— Смотрите-ка, к нам гости!

Йожо состроил гримасу. Отец сделал ему знак глазами, встал и медленно прошествовал через кухню в коридор. Я не выдержал, отлепился наконец от стула и выскочил через окно на улицу. Страж и Бой, дурачье несчастное, кинулись за мной.

Я услышал, как завизжал кто-то из девчонок, — наверное, собаки сбили с ног, потом, сделав вираж возле печи, псы в телячьем восторге выскочили следом за мной в окно.

В малиннике я бросился на землю и чуть не заревел. Псы подбежали ко мне, и я треснул Боя по уху. Страж заворчал и оскалил на меня зубы. Ступайте прочь, балбесы несчастные! Видеть вас не желаю! Я чуть-чуть раздвинул кусты малины, ровно настолько, чтобы разглядеть кухонное окно и крыльцо со ступеньками, и твердо решил ни за что на свете не возвращаться. Но Лива могла бы выйти и сама. Не будет же она до бесконечности торчать в этом сумасшедшем доме. Через открытое окно я слышал лишь смех и суматоху. Громче всех смеялись тетя Смржова и Юля. Если она хохочет надо мною, я ее вечером убью! Да разве она сознается?

Я начал про себя упрашивать Ливу выйти. Как там, на холме, когда она посмотрела на меня в бинокль. Через пять минут она действительно появилась на пороге!

Огляделась и направилась прямо к Марманцу. Я поскорее расширил свой наблюдательный пункт и увидел, что под Марманцем развалился Бой. Лива села на скамейку; Бой лениво подполз к ней, поднялся, и она стала его гладить.

Тихо, как рысь, я обогнул поросячий загон. Через лопухи я уже шел нормально и появился с другой стороны Марманца с каменным лицом индейца. Лива подвинулась на скамейке и дала мне место. Она все еще гладила Боя, который с виду казался чистым. К счастью, собачьи блохи прячутся в густой шерсти. Я поднял руку, чтобы тоже погладить его. Но Бой дернул головой: он боялся, что я хочу снова врезать ему.

— Что это с ним? — вздрогнула Лива.

В другой раз он бы получил свое, но сейчас я не хотел, чтобы Бой удирал, и мне пришлось сказать:

— Одичал немного в этом Микулаше. Но ничего, ты можешь его гладить.

И тоже принялся гладить Боя так ласково, как только умел. Лива положила на белую шерсть Боя свою загорелую руку с серебряным колечком на мизинце. И так мы вместе гладили Боя, и я два раза коснулся Ливиной руки. Мы молчали.

— Твой отец берет нас с собой в машину, — сказала наконец Лива.

Я обрадовался. Ведь сам бы я не отважился попросить отца об этом, хотя знал, как Лива ненавидит давку в автобусе. Мы как-то в прошлом году ехали с нею вместе, и я видел, как она смотрела на людей и отпихивала локтями каждого, кто прикасался к ней. Моя мама осуждала ее за это, а я нет; как Ливе привыкнуть к давке, если на Дюмбере никто не толкается!

— У тебя нет с собой губной гармоники? — отважился я спросить, ведь мыслей еще никто читать не умеет.

— Отчего же, есть, — кивнула она головой и ужасно смешно заморгала. Глаза у нее и правда совсем зеленые!

— Сыграй что-нибудь, — попросил я и погладил Боя.

— Не могу, — шепнула она мне почти в самое ухо. — Она в рюкзаке на самом дне. В тапочке.

И со смехом рассказала, как мама ее уже дважды выбрасывала гармонику из рюкзака, но Лива маму все-таки перехитрила.

Бою уже надоели наши ласки, и он попытался улизнуть.

Но я незаметно так дернул его за ухо, что он тут же все понял и сел на место.

— Отец сказал, что я уже большая и могу теперь иногда приезжать домой на воскресенье.

Вот было бы здорово! Просто замечательно.

— А так ты приехала бы только на рождество?

— Вот еще! Может, повезет, и я заболею, тогда приеду раньше и надолго.

Сомневаюсь, чтобы Лива могла вообще когда-нибудь заболеть.

— Помнишь, в прошлом году? — посмотрела она мне прямо в глаза. — Ведь повезло же в прошлом году. Я отравилась колбасой уже в октябре и целых три недели жила дома!

Я немного испугался, но Лива только смеялась.

По ступенькам спустился Вок в выходных длинных брюках, сером свитере и белой рубашке. Смотрите-ка, настоящий барин! Только обросший, а под носом паршивенькие усики, как будто он просто плохо умылся. Следом за ним вышли Эста с Габкой. Габа нас заметила, отпустила Эстину руку и приперлась к нам.

— А что я тебе покажу! — сказала она Ливе. — Знаешь, что у него есть?

Она схватила Боя и начала разбирать ему шерсть.

— Гляди-ка! Блохи!

— Нет у него ничего, — крикнул я Габке, — не выдумывай!

Я хотел ее прогнать, но она никак не уходила. Заметив Ливии интерес, она во что бы то ни стало хотела показать ей блох. Я надеялся, что она ни одной не найдет. Иногда блохи так прячутся, что не найдешь. Но именно сейчас, и именно перед Ливой, они вдруг начали передвигаться по желтоватой шерсти как на параде.

— Вот видишь! — ликовала Габа. — Ты не бойся, они на людей не прыгают. Правда, Бойчик? Покажи своих блошек, Бойчик, покажи! — ласкала и обнимала она Боя, чтобы только показать Ливе, что не надо бояться собачьих блох.

Я смеялся вместе с Ливой, но, честно говоря, мне было не до смеху. Я еще в жизни не тронул Габу пальцем, но сегодня, наверное, выдеру как Сидорову козу вместе с ее противным блохастым Боем.

А мы так хорошо гладили его!

— Ну, по коням! — скомандовал отец, и мама кинулась обнимать Йожу.

Он не стал увертываться, но страшно покраснел, стал хлопать маму по спине и поцеловал ее в щеку. Мне он подал руку, Габу подкинул и притворился волком, готовым ее съесть. Она пищала, кричала, но спускаться на землю не хотела. Ну и покажу же я ей!

Тетя Смржова с Ливой и Эстой сели сзади, отец — за руль. Мы с Воком раскачали машину, и «лимон» довольно легко завелся. Потом мы его догнали, и Вок вскочил к отцу.

— Привет, Дюро! — протянула мне Лива руку, и я схватил ее.

Привет, Лива!

Меня чуть не задушил выхлопной дым. Я пробежал еще несколько шагов, но машина уже скрылась за поворотом.

Я все еще стоял и смотрел, хотя уже ничего не было видно.

Привет, Лива!

Привет, Лива, серна пугливая... \* \* \*

Таков уж закон природы: когда не надо, ты можешь подняться хоть в четыре часа утра, но как только нужно собираться в школу, то тебя будят, будят, а ты никак не можешь встать. Так и со мною. Когда меня утром будят, я ругаюсь и клянчу, отбиваюсь и сую голову под подушку, но проснуться никак не могу и ничего этого не помню! Ведь если б я понимал и помнил, разве я б сказал отцу: «Убирайся! Отстань от меня! Не приставай! Я болен». Еще Юле или маме — могу, но отцу... Когда меня будят, то я ничего не понимаю и ругаю всех подряд. На этот раз дело кончилось плохо. Отец облил меня водой и раз навсегда запретил будить.

— Вот тебе будильник, — сказал он мне вечером. — С завтрашнего дня будешь вставать сам! Совсем взрослый парень — и никакой дисциплины!

— Какой же он взрослый, — заступилась мама, — ведь...

Отец на нее глянул и глядел до тех пор, пока она не забыла, что хотела сказать.

— Я сам утром проверю, как он будет ругать будильник.

Это означало, что маме будить меня запрещается.

Я завел будильник и стал вставать в самое разное время, в зависимости от того, удавалось ли мне с будильником справиться. Иногда он звонил в шесть, иногда в пять, иногда в четыре. Один раз звонил ровно в полночь. А то и вовсе не звонил. В тот день я проспал до семи, но отец не разрешил мне остаться дома, хотя я уже пропустил свой автобус. Государственный заповедник закрыл дорогу, и мне теперь до остановки почти два километра, потому что сюда могут добраться только легковые машины, а автобусы — нет.

— Стану я всю дорогу пешком тащиться из-за какого-то испорченного будильника! — уперся я.

Мама упросила отца. «Лимон» — ха-ха, редкий случай в нашей жизни! — стоял на очередном ремонте, и я остался дома. Отец целых полчаса учил меня обращаться с будильником. Интересно, как он теперь будет звонить! Потом, к сожалению, пошел дождь, и я отправился учить уроки в свою комнату. Габу я послал за ножницами и велел незаметно прихватить журналы из столовой. До самого обеда мы вырезали с ней всякие интересные картинки — только внутри, обложки мы не трогали. Габочка хотела, чтобы я вырезал ей красивых женщин, всяких раздетых артисток. А я с четвертого класса собираю животных, у меня их уже почти три больших альбома. Я и теперь не могу удержаться, когда вижу хорошенькую обезьянку или расщипавшего тигра, мне обязательно хочется их заполучить. Я хотел было немножко почитать, но Габа все время приставала ко мне. Она очень любопытная — все ей нужно знать. Кое-что я ей объяснил, но потом она по всем журналам разыскивала атомные грибы, колола их ножницами и изуродовала на другой странице чудесного грустного пса, с

ушами до самой земли. Я разозлился и перестал ей рассказывать.

А на улице все льет и льет дождь.

Вообще весь сентябрь шли дожди, и, кроме дяди Рыдзика и дорожных рабочих, к нам никто не приезжал. Только один раз заглянули какие-то гости — наверное, инженеры из Брезна. Мы тогда всю ночь не могли уснуть. Гости выпили почти весь отцовский коньяк, прыгали, плясали и вопили во все горло и под конец разбили семнадцать бокалов. Когда я первый раз проснулся оттого, что хлопали двери, я испугался и выбежал посмотреть, что творится.

Двери в столовую были открыты, и на лестницу, где я стоял, никто не смотрел. Да и кто бы стал смотреть на лестницу, если на столе выплясывала какая-то девица? В туфлях, прямо на белой скатерти. Инженеры визжали, как обезьяны, девица прыгала, поднимала ноги, трясла длинными светлыми волосами и сыпала на инженерские головы пепел от сигареты. Я злился, что меня разбудили, но не мог удержаться от смеха — уж очень смешно она сыпала этот пепел. Да еще на какую голову! На лысую! Она дрыгнула ногой, туфелька отлетела и сбила известку с потолка. В тот же миг девица рухнула прямо на головы инженерам как подпиленное дерево. Так им и надо! Когда она падала, вид у нее был такой глупый, что она уже вовсе не казалась красивой.

Отец выскочил из кухни, но мама стала тянуть его обратно.

— Феро, прошу тебя, не пей, — услышал я ее голос.

— Я и не пью, — ворчал отец, — но не могу же я отказываться, когда угощают.

— Что за народ, боже мой! — вздыхала мама. — Гони ты их прочь! Давно пора закрывать.

— Торговля есть торговля, мы месяц с тобой бездельничали. Ты иди ложись, Терочка. — Отец и вправду был довольно веселый.

— Не лягу! — сердилась мама. — Тьфу! Ну и люди! Я пойду и скажу, что мы закрываем!

— Где у тебя разум, жена? — разозлился отец. — Ты что, хочешь довести меня до беды? Знаешь, кто эти люди?! — И он стал шептать маме на ухо, кто они, эти пьяницы.

— А мне все равно! — кричала мама. — Ведут себя хуже скотов!

— Ты замолчишь?! — прошипел отец. — Послал черт помощницу! Что ты вообще смыслишь в торговле?! Иди вари черный кофе!..

Я взбежал по лестнице и очутился в темноте. Отец шел по коридору и свистел, а в дверях рассмеялся, увидев, что гости укладывают девицу на скамью. Потом он прикрыл дверь, и в столовой заиграла радиоло.

Я вернулся к себе в комнату, но уснуть не мог. Мне очень хотелось знать, что творится там внизу. Но когда я попробовал открыть двери, они оказались запертыми. Радиоло играла всю ночь. «Маленькую девочку», наверное, раз десять, один раз даже «Аккорды в огне». Сначала я обрадовался, услышав «Аккорды», но уже на середине мне стало грустно. Это Ливина песня. Очень нужно, чтобы ее заводили всякие пьяные? Кто бы они там ни были, могут заводить свои стилиажьи песни, а «Аккорды» пусть оставят в покое.

Я выглянул в окно: что это за гости такие знаменитые? Перед домом стояли две «Татры-603». Из окон столовой лился свет, и я разобрал на них знак «БА» — значит, Братислава. Действительно, не простые инженеры. Мне вдруг стало очень холодно, и я забрался под одеяло.

Я уже почти заснул, когда в дверь стал скрестись Бой, и щеколда стукнула. Ага, значит, там оба пса! Отворять двери умеет только Страж. Я впустил их. Обычно они спят внизу в коридоре, но бедняга Бой совершенно не выносит музыки, особенно когда пиликают скрипки. Он не в силах удержаться и начинает выть, хочет он этого или нет. Я впустил их в комнату. Да разве с собаками уснешь? Ночью им не спится; ведь они не люди, им играть хочется. Бой поплелся было к Габуле, чтоб разбудить ее. Этого только не хватало! Мне пришлось наподдать ему, чтобы он отправился в угол и улегся там.

Все-таки будильник отвратительная, бесчувственная тварь!

Встала пока только мама. Она дала мне завтрак и очень жалела меня, хотя ей это запрещено.

Ночных гостей уже не было. От «татр» остались лишь следы на размокшей дороге. Дождь прошел, но было темнее, чем ночью. Темнее, потому что ночью темнота — привычная, черная, и ты знаешь, что так и должно быть. А теперь тяжелые тучи неподвижно повисли на вершинах, и день стал серым и мглистым. Чернел только лес. И было слышно, как падают капли с мокрых деревьев. Когда я спускаюсь вниз, в долину, мне это не мешает. Но когда выхожу из школы, жду автобуса и смотрю на Дюмбер, мне как-то не по себе, что я его не вижу. Однажды я не видал его целых три недели, и мне стало казаться, что его вообще уже нет. Что, он растаял, растворился в серых тучах, как исчезли другие вершины, и вся наша долина, и наш дом? И я, поднявшись наверх, напрасно буду звать, искать и разгребать мокрую землю — я не найду ничего и никого и в конце концов исчезну сам, утону в этом море серого тумана...

В тот раз шофер автобуса сказал мне:

«Ну и намучился ты, Дюро, с этой школой! Ты вполне заслуживаешь, чтоб тебя сделали президентом или хотя бы министром. И почему тебя не устроят ночевать в деревне?»

Да потому, что я не хочу! Потому и не устраивают. Только когда морозы очень сильные и автобус не ходит, я остаюсь ночевать у Рыдзиков. Хотя мне неохота. Они мне всегда дают огромный пуховик, а я привык к простому одеялу. Да и торчать целый день в натопленной комнате мне вовсе не улыбается. Уроки я делаю быстро и от скуки отправляюсь к девчонкам.

«Ну, а если назначат президентом, — продолжали мы разговор с шофером, — что мне тогда нужно будет делать?»

«Что? Ну, кое-что... — старался он перекричать шум мотора. — И еще ты поселишься в кремле...»

Хо-хо! Больно надо!

«Не хочу!» — кричал я в ответ.

«А Первого мая мы будем тебя приветствовать».

Это уже интересней.

«Все равно не хочу!» — кричал я.

«С тобою не договоришься», — смеялся шофер.

Со мной, правда, договориться трудно. Я и сам не знаю, кем хочу быть. Из-за этого я и за сочинение «Кем я хочу стать» схватил кол. Я не знал, что придумать, и все сдул у Дэжо Врбика. Нашему Габчику показалось подозрительным, что мы оба хотим быть летчиками-планеристами, да еще пишем об этом одними и теми же словами. Он не стал

ломать голову над тем, кто из нас именно хочет быть летчиком, и вкатил обоим по единице. А у нас на двоих было всего три ошибки! Дэжо меня не выдал, но считает себя пострадавшим и все время меня этим попрекает. Если бы, мол, он был таким же «хорошим товарищем», как я, то получил бы четверку. И еще он не может мне простить, что я не принес ему в сентябре динамит. А как я мог принести, если минеры мне его не дали. Стащить? Может, я бы и стащил, да не знаю, где они его держат. Догадались, что мы с динамитом играем, и, конечно, припрятали. Все равно Дэжо зря на меня злится. Мортиру он не достал, а кроме того, мы просто не знали, как ее зарядить, чтобы дать торжественный залп. Но от сестрицы ему досталось и без Mortiry. Ему, конечно, на сестру наплевать. Ему интересно было пострелять.

Иногда мы с шофером ездим в автобусе только вдвоем. Кондукторша с большим удовольствием остается в деревне. В такой хмурый день, как сегодня, шофер уже на пятом километре включает свет во всем автобусе, чтобы было повеселее. Мне-то не грустно, но шофер родом из Трнавы, с равнины, и не любит наших узких темных ущелий.

«Здесь житье для медведей, а не для людей», — ворчит он и добавляет, что если б не трое детей, то он бы сбежал от жены, которая не может жить на равнине.

Я бы на равнину с удовольствием поглядел. Но когда я выхожу из автобуса и шофер мне говорит: «Почему ты, Дюрко, не носишь с собой хотя бы дубинку?» — я вижу, что он меня жалеет, и начинаю смеяться.

Я так люблю возвращаться домой!

А когда напридумываю про исчезнувшие горы, то начинаю торопиться больше, чем обычно, и даже насвистываю, чтобы поскорее услышать Стража. Он все замечает раньше, чем Бой, и лает громовым голосом. Оба пса мчатся ко мне вниз стремительно, как танки. Бою я кладу на спину портфель (продеваю ремни через передние лапы), а Стражу даю что-нибудь полегче — шапку или тапочки (он все носит только в зубах).

Возле дома стоит Габа (когда идет сильный дождь, она высовывается из окна). Она присоединяется к нам и просит, чтоб я дал ей тоже что-нибудь нести, но обычно у меня уже ничего не остается.

«Мы чистили плиту, — говорит она важно. — Хи-хи, знаешь, какая Юля была черная! Наверное, труба упала!» Или: «А поросенок не хочет есть! Тот, маленький, с черным ухом. Как бы не умер!» Или: «А нам звонили! Один дядя приедет к нам чинить телевизор. Ай-ай-ай, как это нам дорого обойдется!..»

Пока мы дойдем до дому, я узнаю от нее все новости. Не только то, что она сама видела, но и то, что слыхала от взрослых. И если ей случайно не удастся рассказать мне все, она держит меня за пальто и не впускает в дом до тех пор, пока все не выложит. Боится, как бы кто-нибудь ее не опередил.

В кухне тихо и приятно, не то что в разгар сезона, когда стоит шум и крик. На желтом полу лежат бенюшские половики, и обувь надо снимать. Страж и Бой торчат в коридоре или на улице. И лишь когда совсем обсохнут, могут забраться под стол. У Боя уже нет блох. Они пали жертвой керосина. Нам пришлось держать его втроем, пока отец мазал его керосином и обматывал тряпками. Полдня Бой пролежал в сарае, запеленатый, как египетская мумия. Когда мы приходили его проведать, он жалобно скулил, но как только оставался один — я видел в щель, — то дрых за милую душу и керосиновая вонь была ему нипочем. Известный притворщик!

За столом я сижу один, как барин. Являюсь, когда все наши уже давно отобедали. Но и мне остается достаточно. Одних только пирогов с маком тарелки три. Мясо, слава богу, теперь

варят редко, не то что летом, когда нет времени возиться с тестом. После обеда начинаются расспросы, что нового в школе.

— Ничего, — отвечаю я.

— Что значит — ничего! — сердится отец.

— Да так, ничего особенного, — говорю я.

Наши никак не могут привыкнуть к тому, что я уже не малое дитя и мне не хочется болтать попусту. Если меня вызывали, я говорю; а если нет, то к чему даром тратить слова? Не стану же я рассказывать, что Габчик хотел врезать Дэжо Врбику и не смог, потому что не родился еще на свет такой человек, который бы мог стукнуть Дэжо. Хотя Дэжо не удирает, нет, он стоит как столб, но когда на него замахнутся, он так ловко уклонится, что удар всегда приходится мимо. Габчик озлился, поставил Дэжо в угол, левой рукой схватил за плечо, но все равно не попал — Дэжо подогнул колени. Габчик покраснел как рак, прижал его колени своими и снова замахнулся. Дэжо опустил голову, и Габчик ударился рукой об стену. В это время прозвенел звонок, и Габчик выскочил вон из класса, а мы принялись хохотать. На перемене мы из спортивного интереса пытались проделать то же самое, но Дэжо действительно неуязвим.

Это, что ль, я должен рассказывать отцу? Или как мы поймали двух мышей, посадили их в дровяной ящик и ждали, когда появятся мышата, чтобы потом выпустить их в зал?

Хо-хо! Я-то ведь не такой неуязвимый, как Дэжо Врбик!

Я поднимаюсь в свою комнату, чтобы переодеться в лыжный костюм. Нам постелили новую дорожку. Мы с Габой на ней кувыркались, пока я не выбил стекло. Босой ногой. Во внутренней раме. Кровь хлестала вовсю, но жилы остались целы. Еще у нас здесь стоят сосновые ветки в огромной вазе, обычно она украшает столовую. Ваза словацкая, расписная: на ней парень сидит. Конечно, не на самой вазе, а на кабане, что там нарисован. Сидит и держит кабана за уши, а тот сопит и несется как бешеный. Очень смешной парень. Когда я смотрю на вазу, мне всегда становится смешно. Наверное, и сам художник смеялся, когда вокруг этого психа-охотника рисовал прекрасные невинные цветочки.

Конечно, я и уроки делаю. Когда в комнате появляется мама или отец. Но чаще я бегаю по улице, даже в дождь. Ведь у меня остался Йожкин плащ. \* \* \*

Убили старика оленя! Некому теперь дразнить отца. Не выглянет больше старик из-за деревьев, не сунет морду в нашу машину и не повредит электричество во всем доме, потому что никогда больше не сможет засыпать водоем. Его застрелили...

А мой отец, который так на него сердился, не хочет даже пойти взглянуть на него. Два года он уговаривал дядю Рыздика устроить охоту, а теперь, когда олень мертв, ругается и ворчит, что не желает с этим иметь ничего общего. Так же было, когда Юля резала Крампулькиных петушков. Отец тогда тоже не хотел иметь ничего общего с этим, но мясо ел. А я следил, чтобы не появилась Габулька и не увидела, как прыгают, обливаясь кровью, обезглавленные петушки. Габе мы сказали, что их унес ястреб. Она поплакала-поплакала и принялась обглаживать куриную ножку. Единственный, кто не стал есть курятины, был я. Когда мама просила отца зарезать петушка, он сказал: «Не могу я, у меня сердце жалостливое».

Потом она смеялась: «Зато желудок здоровый». А у меня наоборот. Сердце не жалостливое, а желудок — слабый. Сторожить, чтобы не появилась Габка, я могу, а есть мясо — не могу.

С оленем такая же история. Отец вечно на него ругался, но видеть его убитым не может. Я, наоборот, всегда мечтал его спасти, а когда не удалось, то захотел хоть взглянуть на него

напоследок.

Вечером я лежал под одеялом и проклинал школу. Из-за нее я не мог по утрам брать собак и бегать с ними по лесу, чтобы псы своим лаем разогнали зверье, когда явились эти немцы-охотники. Неделю охотники ходили просто так, приглядывались, никого не отстреливали, и я решил, что у старика оленя хватит ума, чтобы спрятаться в микулашском лесу. Но у бедняги хватало ума только на шуточки с моим отцом, а если что посерьезнее — тут он не соображал. По крайней мере лесника Рыздика он не перехитрил.

Что касается Рыздика, у меня о нем свое мнение.

Вечером в среду наши собаки дома не ночевали, и я был очень рад, что они сами догадались отправиться пугать зверье. Я не пошел их искать и Габке не велел звать Боя. Пусть побегают. Хотел бы я посмотреть на того оленя, который не испугается их бреха и не сбежит за тридевять земель!

В четверг меня встречал только Страж, но зато у самую автобуса. Он, правда, поздоровался со мной, пролаяв, но отказался что-либо нести — мчался вперед и торопил меня. И Габуля не встречала меня, как обычно, с новостями. Это мне показалось подозрительным. И только на кухне я понял почему.

Бой лежал на половике, весь дрожал, скулил и протягивал всем правую переднюю лапу. На его шерсти запеклась кровь, а лапа опухла.

— Сломал? — осмотрел отец лапу. — А кровь-то откуда?

— Может, змея ужалила, — предположила Юля.

Мы всполошились, но мама сказала:

— При чем тут змея? Ведь в конце августа, на святого Варфоломея, все змеи прячутся в норы. Потом земля смыкается, и если какая-нибудь змея не скроется вовремя в нору, то погибнет где-нибудь в кустарнике.

— Может, его как раз и куснула такая, оставшаяся, — предположил я.

Хотя едва ли. По ночам уже сильные заморозки, а когда змеям холодно, они слабеют, яд пропадает, и ужалить они не могут, даже если захотят.

— Ступай в сарай и принеси дощечку. — Отец рвал старое полотенце на повязку.

— А может, две? Если лапа сломана, ее надо зажать между двух дощечек.

— Нет, одну. — Отец стал ощупывать лапу, и Бой взвыл на всю комнату. — Опухшее место нельзя зажимать. Мы подложим доску только снизу, а рану зальем йодом и перевяжем.

Йодом! Нет уж, спасибо! Как бы он от боли кого-нибудь не цапнул!

— Беги к телефону, — велел отец, когда я вернулся из сарая.

Мне не хотелось отпускать лапу Боя. Ее как раз собирались мазать йодом. Но телефон все звонил и звонил. Юля сменила меня, и я побежал в комнату.

— Алло!

— Это ты, Дюро? — просипел в трубку дядя Рыздик. — Скажи отцу, чтобы он этих разбойников запер в погреб. Если я еще раз замечу их в лесу, застрелю без всякой жалости! Сегодня я уже жахнул одному под нос зарядом дроби. На этот раз только пугнул, но завтра



уже шутить не стану! Скажи отцу. Все!

— Ага, пугнул! — крикнул я и отставил трубку, чтобы было слышно, как воеет Бой: ему поливали йодом лапу.

— Что вы там вытворяете? — спросил лесник.

— От вашей дроби — чтоб вы знали! — у Боя вся лапа распухла! — закричал я.

— Не выдумывай, Дюро! — теперь уже кричал и он, — Я его только пугнул. Ведь я не слепой и точно видел, куда попал. Прямо в скалу! Искры так и посыпались. А камень брызнул во все стороны. Не выводи меня зря из терпения!

К телефону подошел отец. В кухне уже было тихо. Бой приходил в себя, непрерывно подрагивая лапой, залитой йодом. Разок он даже понюхал ее. Габочка обмахивала его рану моим учебником истории.

Отец вернулся после телефонного разговора злой.

— Ах ты разбойник! — закричал он на Боя. — Тебе бы выпустить хороший заряд соли в зад, чтобы ты раз и навсегда забыл, как носиться по лесу! Ну-ка дай сюда!

И он безжалостно ощупал его лапу и, убедившись, что она действительно лишь поцарапана, выбросил дощечку в окно, а бинты сунул в плиту.

— Я тебе покажу! — злился отец. — Чуть задело камнем, а он тут цирк устраивает, будто сейчас сдохнет! Ну-ка, марш вон!

Бой не понимал, почему все так сразу изменилось. Он и не думал подниматься с пола.

— Ты что, не слышишь? — кричал отец. — Ну-ка вон!

Бой вскочил и с оскорбленным видом, прыгая на трех лапах, выбежал вон.

И все-таки насчет дяди Рыдзика у меня свое мнение. Ни с того ни с сего у Боя нога не распухла бы. А дядя Рыдзик такой, что способен сдержать слово и пристрелить наших собак только за то, что те распугивают зверье, и оленей уже нет там, куда лесник ведет убийц — охотников-иностранцев. Ведь не будь Рыдзика, немцам никогда не поймать бы на мушку старого бродягу оленя. Это он, дядя Рыдзик, преподнес им это, как на тарелочке. Да, такого свинства наш Йожка никогда не допустит. Все, кто захочет охотиться с Йожо, должны будут сами выслеживать зверей. И уж Йожо никогда не наведет никаких чужеземцев на след самого осторожного и мудрого во всех Низких Татрах оленя-рогача. Этого он никогда не сделает!

Старика подстрелили вдали от нашего дома, где-то у Камзички. Не могу понять, что он там делал. Камзичка намного ниже наших мест, от дороги далеко, в самом лесу. Я несколько раз там был. Там построили охотничий домик государственного лесничества. Ключ от него есть только у Рыдзиков, и войти может лишь тот, кого приведет туда сам Рыдзик. Недавно домик выкрасили зеленой и желтой краской, чтобы он нравился иностранцам. А как-то я встретил одного парня из деревни, который тащил туда за десять крон старую медвежью шкуру и чучело глухаря. Из чучела летела моль, и перья едва держались.

Вот у этого-то домика на Камзичке и погиб одинокий старый бродяга.

После этого охотники не явились вечером в наш дом. Они с отцом договорились, что если застрелят оленя, то останутся ночевать на Камзичке, а мы им на следующий день отнесем по списку все, что они велели. Я надеялся, что такой день никогда не наступит. И вдруг в пятницу мы целый вечер прождали их напрасно. Я сразу понял, что дело плохо.

Утром отец мне сказал:

— Приходи из школы пораньше. Пойдешь на Камзичку с продуктами. Сегодня суббота. Там переночуешь и в воскресенье вернешься.

Ну и ладно. Все равно мне хотелось взглянуть на беднягу старика. Я вошел в дом, увидел два набитых рюкзака и сумку, полную бутылок, и сказал:

— Если вы воображаете, что я все это донесу, то пожалуйста. Мне, конечно, их даже не поднять. Но если вы меня сумеете навьючить как мула, — пожалуйста, я потащу!

— Не болтай, — сказала мама и дала мне поесть. — Сейчас приедет повар из Брезна, он возьмет самое тяжелое. А ты только рюкзак поменьше.

— Смотрите-ка, им еще и повара заказали!

— Ого, ему уже пора быть здесь! — всплеснула мама руками. — Ведь он должен был приехать автобусом!

И правда, со мной в автобусе ехал какой-то тип, в шляпе, в пальто до пят и в полуботинках. Наверное, это и есть повар. Кроме него, в автобусе были две женщины, но они направились к рабочим. За всю дорогу этот тип не проронил ни слова. А я не имею привычки приставать к людям. Я вылез из автобуса, прибавил шаг и всех обогнал.

— Наверняка это он, — сказал отец и отправился ему навстречу.

Вскоре они с поваром уже вместе сидели в столовой. Повар передохнул немного, есть не стал, выпил пива, и мы двинулись в путь.

Когда я видел какого-нибудь повара на картинке, то всегда его изображали толстым-претолстым, и я уже думал, что это просто юмор. А вдруг является всамделишный повар. И толстый будь здоров! Будь он из Братиславы или из Банской-Быстрицы, тогда понятно. Но из какой-то Брезны — и уже килограммов сто!

Свой груз он тащил честно. Только шляпу сдвинул на затылок, чтобы ветром обдувало вспотевший лоб. На полуботинке у него развязался шнурок, но из-за своей толщины он не увидел.

— Смотрите, дядя, на шнурок не наступите, — решился я заговорить, потому что не мог больше идти молчком.

— Ну и наплевать, — сказал он противным голосом.

И снова наступила тишина, только повар сопел, как десяток кабанов, разрывающих картофельное поле. Он шагал широким, по-медвежьему косолапым шагом, и полы его расстегнутого пальто развевались словно крылья.

— Чтоб их все черти драли! Им что, живанской[2] у лесника мало? — прохрипел он. — С деньгой хотя бы?

Я не знал; правда, автомобили у них шикарные: «опель» и «мерседес».

— Подумаешь! У них каждый ободранец на колесах. Я говорю про деньги! Про валюту! Задаром я не дурак таскаться.

Я согласился. Конечно, дурак он, что ли, тащиться на край света, да еще в зимнем пальто!

— Если вам жарко, — сказал я, — давайте понесу ваше пальто.

— Еще чего! — удивился повар. — Разве я могу его теперь снять? Вспотевший человек раз-два и простудился.

Я спросил его, знает ли он в Брезне Риачеков.

— Как не знать! — засмеялся он. — Я сам Риачек! Самый знаменитый из всех брезнянских Риачеков.

— А дети у вас есть?

— Конечно. Двое ребят. Один скоро будет инженером!

Значит, не он. У Риачеков, где живет Лива, — дочка, она учится с Ливой в одном классе.

— А много в Брезне Риачеков?

— Хватает, — надулся от гордости повар, — да только многие уже отправились подкрепить Братиславу.

Мне больше не хотелось расспрашивать, но повара уже понесло, и он продолжал, загибая толстые пальцы:

— Один погиб на войне. Второй, Само, тот сидит. Марти начальником где-то на Горегрони, а брат его Палё, у того язык подвешен что надо, весь город в кулаке держит. Да мне-то что! Он мне двоюродный брат во втором колене.

Мы шли, а повар все вспоминал и вспоминал всех Риачеков, пока у него на обеих руках уже осталось только два незагнутых пальца. Вдруг он остановился, уставился на меня и спросил:

— А тебе-то что до Риачеков?

— Да ничего, — смутился я, — так просто.

— Как это ничего? — пристал ко мне повар. — Сначала выпрашиваешь, а потом ничего!

Я уже жалел, что завел этот разговор. Ясное дело, ему это показалось подозрительным.

Но разве я могу взять и прямо спросить, где живет Лива и видел ли он ее? Чтобы повар понес какую-нибудь ерунду вроде Юли? Или чтоб сказал в Брезне Ливе, что я про нее выпрашиваю?

А в общем-то, что бы случилось, если бы он ей и сказал? Наверняка Лива иногда скучает, вот и будет знать, что и мы здесь о ней не забываем. Домой она еще не приезжала. Заболеть ей так и не удалось, да и вообще почти все субботы и воскресенья шел дождь. Только сегодня погода кое-как установилась.

Мне пришла в голову ужасная мысль: а вдруг Лива могла приехать сегодня?

— У Риачеков живет Лива Смржова из Партизанской хаты, — выпалил вдруг я неожиданно, — потому я спрашивал!

— Ага, — улыбнулась жирная физиономия, не выдавая, что ее хозяин при этом думает. — Знаю, знаю. Из Партизанской хаты под Дюмбером. Тихая такая девчущка. Тихая, как эти горы.

Вот это удивил! Лива — и вдруг тихая!

По дороге нам попался небольшой голый холм. И тут ни с того ни с сего задул ледяной ветер,

сорвал с повара шляпу, закрутил ее штопором и шмякнул о землю. Я едва успел поймать ее.

Я засмеялся. Вот и Лива такая же тихая, как эти горы.

За холмом начинался лес, теперь уже последний.

— Не знаешь, мы захватили с собой коренья? — спросил повар, когда мы вышли на прогалину. Это была уже Камзичка.

Не знаю. Буду я еще думать о каких-то кореньях.

— Главное, чтобы были соль, лук и сало, — рассуждал повар.

Как же! Главное, чтобы бутылки были. Знаю я этих охотников.

Я огляделся: где же олень? Тут не видать. Только охотники расселись на ступеньках желтой веранды, а один даже лежит, прикрыв лицо шляпой с дрожащей кисточкой. Увидев нас, они повскакали и с громкими криками кинулись помогать нам снимать рюкзаки.

— Пошли, принесем его, — сказал дядя Рыдзик охотникам.

Повар, надев фартук, заявил, что сам пойдет к оленю, вынет печенку, сердце и еще что-то там, не знаю. Я незаметно исчез в лесу. Мне велели нести таз для внутренностей. Как бы не так! «Наплевать мне на вас!» — сказал я про себя, так же как повар до этого говорил вслух.

Приволокли оленя. Это был он, наш старик. Глаза у него были открыты. Как будто бы он смотрел затуманенным взором. Большое и грустное сердце его было пробито двумя пулями.

Повар разгреб жар, вынес из дома стол и начал ловко рубить лук. Я подносил поленья, подкладывал в огонь, чтобы было побольше углей. Когда повар нарезал и сало, он взял большой нож и рассек сердце. Что-то заскрежетало. Повар обтер нож. Он был выщерблен, наткнулся на пулю. Две пули навывлет, третья застряла в сердце нашего бродяги.

— E??, guter siser![3] — воскликнул повар и хотел показать всем пулю, пусть порадуются, что все три пули попали прямо в сердце. Но я взял пулю, вымыл и спрятал в карман.

В доме разрывался транзистор. Когда было готово все, повар поставил посреди костра треногу и повесил котелки. Вот сейчас по радио должны были бы зазвучать «Аккорды», сейчас, когда ставят на огонь мужественное сердце оленя.

Пришли охотники и угостили повара вином. И мне налили.

— Выпей, выпей, Дюро! — протягивал мне стакан дядя Рыдзик.

Он совал бокал мне прямо в лицо. Пришлось отскочить, чтобы он не выплеснул на ботинки. Я выпил. Мне было холодно.

Охотники начали разделывать оленя. Голову ему подперли, и казалось, он просто заснул. Когда все было готово, они встали вокруг, обнялись за плечи — и лесник вместе с ними — и запели. Потом сфотографировались, а тот, кто застрелил оленя, снялся еще отдельно. Мне было неприятно, что его убил тот высокий, самый молодой. Пить ему совсем не хотелось, и он охотнее вместе со мной подкладывал бы в огонь поленья. Но его не оставляли в покое, что-то кричали каждую минуту и подкидывали в воздух.

Уже стемнело, а оленье сердце все еще не сварилось. И только когда взошла красная луна, повар закричал:

— Тащи тарелки, лесник!

Я очень проголодался и съел немного жаркого с хлебом. Сердце я и не попробовал. Сердце разумных существ пусть едят людоеды. А еще я выпил вина из бутылки, стоявшей у костра.

После ужина повар вынес на веранду керосиновую лампу, повесил ее на гвоздь, перетащил от костра стол и начал готовить живанску на завтра. Только не из оленя, а из принесенной нами свинины. Я чистил картошку и резал кружочками. Вокруг лампы клубились облака пара, и мне то и дело приходилось дуть на пальцы.

— Эх-х, эх, черт возьми, — притопывал повар, так что веранда гудела, — как бы нас не занесло здесь снегом! — И он сделал глоток, осушив чуть не целую треть бутылки.

Луна наконец выбралась из-за деревьев, побледнела, и ее круглая физиономия заглянула к нам.

Охотники пели у костра, а потом начали прыгать через огонь. Начал-то дядя Рыдзик. Он перепрыгнул, лишь слегка задев пятками угли. Остальным захотелось тоже.

— Гляди-ка! — подтолкнул меня повар. — Да погляди же! — И, подбоченясь, он с довольным видом стал ожидать, когда кто-нибудь из охотников плюхнет в костер.

Случилось это, когда стал прыгать второй по счету. Он перемахнул через костер, как и дядя Рыдзик, но потерял равновесие и медленно опустился прямо в угли. Повар взвыл от смеха, когда все кинулись гасить голубоватые язычки пламени на штанах прыгуна.

— Зачем им повар, — вздыхал он, — они и сами изжарятся на словацком костре! Можно взять долларов пятьсот за такие переживания, да еще сто за то, что луна при этом с блюдом величиной светит. Где еще представится эдакому фабриканту случай пожарить собственный зад при лунном свете?

И он все смеялся, не мог остановиться, и подсчитывал, сколько долларов можно было бы запросить с иностранцев, если б один из них поджарился, а остальные его съели.

— Тогда можно было бы рекламировать Словакию как страну людоедов. Такой страны в целом мире уже не найдешь! Знаешь, сколько народу явилось бы сюда, чтобы поджарить своих компаньонов по торговле? А мужья — жен, а жены — мужей? Вот бы перепало нам валюты! Мы бы, приятель, прямо утонули в деньгах!

Я засмеялся, но повар вдруг стал серьезным.

— Интересно, а кто мне заплатит? Моему шефу дали приказ сверху, а шеф приказал мне. Приказывать каждый горазд, а платить некому.

— Наверное, вам шеф заплатит, — сказал я. Уж не воображает ли он, что платить будет мой отец?

— Шеф? — Повар стукнул по столу куском свинины. — Этот скорее вычтет у меня два дня из отпуска. По его мнению, я вроде на пикник съездил!

— А вы не соглашайтесь.

Тащить на себе рюкзаки и кухарить на всех, да еще ночью!

— Пусть только попробует! — резанул повар ножом. — С этих я для верности сам возьму. А вниз пусть господа изволят отвезти меня на «мерседесе»!

Это они действительно могли бы сделать.

В доме было пятеро нар. Мы с поваром заняли крайние у дверей.

Я полез попробовать верхние. Матрац и зеленая подушка были набиты сеном, и от них пахло как от придорожной копны сухого сена, в которой я обычно дожидался автобуса в конце школьного года.

...Я уже хотел было вскочить на ноги, когда, на свое счастье, сообразил, что лежу на верхних нарах.

Весь домик ходил ходуном, и я не сразу понял, что это храпят охотники. Я нагнулся. Подо мной тихонько посапывал повар. Остальные выводили такие рулады, что я не мог удержаться от смеха. Потихоньку слез с постели и приоткрыл дверь. Несмазанные петли заскрипели, кто-то зашевелился, но я уже был на улице. К счастью, я уснул одетым.

Не знаю, который мог быть час, — наверное, поздно. Луна уже заходила за горы, костер затоптали, а мертвый бродяга тихо и одиноко лежал на лужайке. Я смотрел на него, и мне казалось, что вот-вот он вскинет голову, поднимется и потопчет котелки того типа, который прострелил его сердце. Или заглянет в оконце, нет ли там моего отца, чтобы выкинуть какую-нибудь шутку. Я присел на ступеньку и замер. Ветвистые рога торчали прямо в небо и, словно клещами, схватили белую луну. Она уже не могла сопротивляться и медленно, послушно опускалась на мертвое чело бродяги.

У меня не слишком жалостливое сердце, и все-таки горло сжалось, словно там что-то застряло и болело. Мне вдруг захотелось, чтобы рядом оказалась Лива. И я не был бы так одинок рядом с бродягой. И чтобы она тоже увидела его с этим бледным сиянием надо лбом.

За спиной у меня скрипнули двери. Вышел главный стрелок, закутанный в одеяло. Сначала он испугался меня, потом зевнул и присел рядом. Увидел оленье рога с луной посередине и тоже онемел.

— Ach, ach, schon![4] — завздыхал он.

Мне стало вдруг противно. Мне вовсе не хотелось никого слышать.

— Понимаешь? — сказал он опять.

Не понимаю! Но одно мне ясно: дурак ты, дурак набитый!

Я встал и, не закрывая дверей, потихоньку влез на сенник. \* \* \*

Уже несколько дней отец чинит «лимон». Кое-как собрал и сказал мне:

— Завтра поедem за мамой. Скоро рождество, а от наших прекрасных дам ни слуху ни духу!

Наша милая мама устроила себе каникулы. На праздник всех святых она вместе с Габой отправилась в Бенюш. Прошло уже две недели, а она домой все не возвращается. Только пишет, что мы должны делать и чего не должны, и каждое письмо кончается так: «Я очень скучаю. Только кончу все дела насчет поля, приеду». Отец смеется: могла бы, дескать, придумать что-нибудь поновее, потому что этим полем она отговаривается уже лет десять. Но потом машет рукой:

— Пусть побудет немного среди людей.

И начинает готовить ужин. Обычно галушки с брынзой, но такой старой, что она жжет, как перец. Неделю назад отец отпустил в отпуск и Юлю. Она отправилась звать маму домой.

— Шел Боб за Бобом, остались там оба. Видишь, Дюро, как можно доверять женщинам, —

говорит отец.

Сначала нам нравилось готовить всякие разносолы и жить, как Робинзон с Пятницей, с нашими собаками вместо диких коз. Вечером мы смотрели телевизор и спали оба в нижней комнате. Я делал уроки при лампе, пока отец готовил ужин. Но когда в один прекрасный день отец обнаружил, что вся посуда грязная, он потерял терпение и поехал на своем «лимоне» в Бенюш.

— Не езди домой автобусом, — сказал он, высадив меня утром у школы, — подожди нас у Рыдзиков.

— Почему? — Я был разочарован.

— Потому! — отрезал отец. — Ну-ка, подтолкни меня.

Мотор заглох, но сверху вниз машину толкать легко.

А я-то обрадовался, что буду дома один! Закрою дом и отправлюсь с собаками в горы, как одинокий северный охотник. Обнаружу следы на снегу и пойду по этим следам, не останавливаясь, до самой темноты. Собаки захотят вернуться, но я размеренным шагом буду идти все дальше и дальше в неизвестную даль, вооруженный дробовиком, биноклем и охотничьим фонариком. Бой будет дрожать от страха, чтобы снова не случилось чего с его лапой, да и Страж притихнет и не захочет отставать от меня, но я их подбодрю — ведь тот, кто ничего не боится, придает храбрости и другим. Услышу в лесу какие-нибудь звуки и закричу: «Стой! Кто там?» И посвечу фонариком. Потом прикажу собакам лечь, прицелюсь, а может, и выстрелю, если, конечно, там никого не окажется. По дороге найду еловую шишку, Страж притащит палку, и я смастерю себе охотничью трубку. Верхушку у шишки отломаю, набью шишку смолой, зажгу и, удобно усевшись, покурю в темноте. Потом возьму винтовку, прислоненную к дереву, перекину через плечо и вернусь домой. Осмотрю свое хозяйство, свиньям дам кукурузы, кур запру в сарае. Отомкну дом, Жофии отрежу кусок колбасы, чтобы она перестала тосковать по диким кошкам.

Потом...

— К доске... Трангош!

Что?.. Почему? Ведь не вызывают!

— Площадь усеченной пирамиды. Изволь проснуться и возьми пособие!

Я ошибся и выбрал усеченный конус.

— Неважно. — У Фукача было хорошее настроение. — Тебе больше нравится усеченный конус? Пожалуйста, пусть будет конус.

Но только я уже все перепутал, и когда до меня дошло, что я держу усеченный конус, а отвечаю про пирамиду, я уже сидел на своем месте.

— Арабская единица. Или тебе больше нравится римская? — гремел Фукач на весь класс.

— Никакой мне не нужно! — Я встал. — Я это знаю.

Дэжо толкал меня под партой. Боялся, что я разозлю Фукача, и тот вызовет и его. Только он ошибся. Фукач разрешил мне отвечать еще раз. Я ответил все без единой ошибки.

— Ну, теперь арабская пятерка плюс старая единица, получается шестерка, делим на два — получается тройка.

Дэжо все пихал меня под партой: не вздумай, мол, спорить. Хотя это была явная несправедливость. Если я знаю, значит, ставьте пятерку. Но тройка есть тройка; все лучше, чем кол, пусть даже римский. И я оставил все, как есть.

Зато Фукач не оставил меня в покое. Ему все казалось, что я дремлю и меня надо будить вопросами.

— Что ты делал ночью? — спрашивали меня ребята во время переменки.

Тогда, осенью, я им рассказал все про Камзичку.

— Вы же понимаете сами, — махнул я рукой, — если человек в горах один и ему надо обо всем позаботиться самому, он не может дрыхнуть как бревно.

— Ух ты! — окружили меня ребята.

— А не боялся?

— Совсем один!

— А привидения?

— Не дурите, — сказал я, — никаких привидений нет. Если тебе страшно, надо пойти и посмотреть, что это.

— Скажешь тоже! Поглядел бы я, как ты станешь смотреть, если у тебя кто-то топает на чердаке!

Кристек живет возле кладбища и через день приходит в школу с новым рассказом. Он весь позеленел от страха и стал совсем тощий.

— У меня на чердаке никто не топал, а кто-то скребся в дверь, вздыхал и фыркал. Я вышел с фонариком в коридор и увидел, что это собаки скулят от страха и лезут в кухню.

— А сколько было времени? — крикнул Кристек и позеленел еще больше. — Не двенадцать, случайно?

— Мне некогда было смотреть. Я сдернул с гвоздя ружье...

— Боже мой... — зашептал Кристек. — Нельзя открывать! Надо крикнуть: «Господь бог с нами, а злой дух вон!»

— А ты отворил? — спросил Дэжо. — Да перестань же, Кристек, не то помрешь со страху!

— Сначала я спросил, кто там. Потом открыл и с ружьем наготове вышел на крыльцо.

— Ну и что? — сказал Дэжо. — Уйди ты лучше, Кристек, раз не можешь слушать! Был там кто-нибудь?

— Да никого. Слышу только, как в лопухах шевелится что-то большое. Я спрыгнул с крыльца вниз, но все вокруг было черным-черно, и трава тоже черная от мороза, ночью в ней ничего не разглядишь. Если бы хоть первый снег на лопухах удержался, я бы на белом увидел. А тут еще туман. Так я для верности пальнул разок в небо.

— Боже мой! — схватился за голову Кристек. — Разве так можно? С духами можно только по-хорошему.

— Ты, Кристек, совсем рехнулся с этим вашим кладбищем! — озлился Дэжо. — Это был



медведь. Правда, Дюро?

— Ага. Утром на снегу я нашел следы. Сначала он шатался под моим окном, а потом по ступенькам поднялся к дверям. У медведей теперь уже зимняя спячка, а этого беднягу кто-то поднял, вот он и не может от голода заснуть и пустился бродить в поисках какой-нибудь пищи.

— Вот тебе и привидения. Эх ты, дохлый призрак, — толкнул Дэжо Кристека, и мы ринулись в класс, потому что прозвенел звонок.

На географии Дэжо что-то мусолил под партой. Потом толкнул меня и дал прочитать: «Слушай-ка, ты, пижон, я видел тебя утром с отцом. Дашь Зузину фотографию — буду молчать, и мы квиты!»

Вот идиот! Совсем забыл, что утром меня могли видеть с отцом. Я раздумывал, что ответить, стараясь написать в словах побольше «ы» да «и», мы специально путаем их, а потом хохочем. Получилось так: «Врбык Дэзыдер моего отца не выдел, Трангош Юрай медведя выдел, и ми квити».

Дэжо покачал головой.

— Фотографию, — прошептал он.

Я мигнул: дескать, дам, но дам, когда она у меня будет. А это значит никогда.

Дэжо на обратной стороне фото наверняка написал бы: «Единственному любимому Дэженке от любящей Зузанки», и всем бы ее показывал. У него уже была одна такая, но ее отобрал Фукач, и он теперь раздобывает другую. Ха-ха, понятно! От таких дел подальше!

А выдумывать всякие небылицы совсем не преступление. Почему не рассказать, если тебя с удовольствием слушают? Ведь я не книги пишу.

После уроков я пошел проводить Кристека. Он не мог успокоиться, что я не верю в привидения, и решил показать мне могилы, из которых они появляются. Могилы как могилы, ничего особенного, но Кристек уверял, что земля на них шевелится. Круглый дурак! Это его бабка вечно бубнит про духов.

— Знаешь что, — сказал я Кристеку уже всерьез, — не верь ты своей бабке, все это сказки. Говорить ты ей этого не говори, ведь она уже совсем старая и только обидится. Но верить — не верь.

Кристек так и замер возле могилы.

— Как будто на свете нет других страхов, кроме этих бедняг привидений, — сказал я, совсем не имея в виду медведей или волков.

Про своего медведя я и не заикнулся. Ведь он был придуман не хуже его призраков. А Кристеку так нравится бояться. Зачем же портить ему радость?

Тетя Рыдзикова угостила меня олениной в сметане.

Олениной? Откуда?

Я выбежал в сад посмотреть, где Миша. У них живет тихий такой олень. Он спокойно стоял у забора и жевал какую-то бумагу.

Я вернулся и принялся за мясо, а тетя под села ко мне.

— Что же это ваша мама бросила вас одних? — съехидничала она.

— И вовсе не бросила. Просто оформляет поле!

— Еще неизвестно, вернулась бы она, не привези ее ваш отец насильно.

Ну, начала свои разговорчики!

— И я бы на ее месте сбежала.

— Наша мама не сбежала. У нас в Бенюше дела. Она все время скучает без нас.

— Гм, гм, — ухмыльнулась тетя Рыдзикова, и мне захотелось выбросить куда-нибудь ее мясо. Я бы так и сделал, но оно было уже съедено.

Хотя бы уж поскорее папа приехал, и мама тоже. Я давно по ней скучаю, и Габочка, и Йожка — правда, я знаю, что он-то уж приехать никак не может. Мне больше не хотелось оставаться одному дома и у Рыдзиков тоже не хотелось быть.

Хочу быть дома с нашими.

Обычно если я о ком-то думаю и зову, то он обязательно является. Это уже проверено на Ливе. Вот и теперь я услышал, как тарыхтит наш «лимон», и выбежал во двор. Я увидел, что машина заворачивает к воротам. В ней сидели мама и Габочка, они махали мне, и я от радости забрался на капот.

— Обожжешься, Дюро! — смеялся отец, и действительно наш «лимон» был горячий, как печка.

Тетя Рыдзикова выбежала и с криком бросилась обнимать и целовать нашу маму.

Притворщица противная! Сначала оговорит, а потом готова задушить в объятиях. Тетя Рыдзикова толстая и растрепанная, а моя мама красиво причесана, на голове у нее красивый платочек, и лицо красивое, и руки красивые. И Габка у нас красивая. Она как будто выросла; на ней новая красная шапочка и красные сапожки.

Мы сели в машину и двинулись вверх по долине. И мне сразу стало хорошо. Через каждый километр я с радостью мчался к ручью и жестянойкой подливал воду в радиатор. Наш бедняга «лимон», горячий словно печка, кашлял и отфыркивал из открытого радиатора клубы пара. Я брал промасленную тряпку и проволокой затыкал разогретый выхлоп, чтобы было меньше треску.

— Весной отправлю ее на свалку! — ругался отец; но он твердит это уже лет десять. — Отвезу на Подберезовский металлозавод и прямо с шоссе скину в ржавую кучу железа.

Интересно, в чем он тогда будет копаться дождливой осенью?

Я носился как угорелый от радости вокруг «лимона», когда вез маму домой. И уже представлял себе, как в дверях мама снимает пальто, подвязывает фартук, разводит огонь и ставит воду для посуды.

— Что бы вы без меня делали? — говорит она, потому что сама видит, что без нее мы не можем жить.

Отец принесет дров, Габуля залезет под стол к Бою, а я вытру всю посуду. Всю-всю! И кастрюли тоже! \* \* \*

Про Владо, этого обожателя природы, я забываю сразу после каникул. И вспоминаю, только

когда изморозь покрывает деревья, все вокруг и даже лопуховые заросли. Тогда я выхожу из дома и представляю себе, как Владо поднимает руку, приветствуя белые, сахарные леса и золотое солнце, и нос у него от холода краснеет, и мне становится смешно, что в этом белом мире сверкает хоть что-то красное.

Правда, это сахарное великолепие быстро кончается. Когда я возвращался из школы, уже наступила оттепель, деревья почернели, и небо затянули темные снежные облака. Но к следующему утру снег уже лежал Габке по колено. Собак мы не могли удержать в доме. Они пулей выскакивали из коридора и валялись в снегу, спятив с ума от радости, что прошло наконец отвратительное жаркое лето и сырая осень и они дождались зимы. Сколько раз мне приходила в голову мысль, что наши псы и понятия не имеют о своих предках с альпийских ледников, где их выращивали монахи-бернардинцы в забытых всеми монастырях. С маленьким бочонком рома на шее их отправляли спасать заблудившихся путников из страшного плена снега и льда. А откуда нашим псам знать об этом? Ведь на свет появились они в Брно и зиму видят всего второй раз в жизни. И тогда я сделал вот что. Вернувшись из школы и увидев, что снегу намело не меньше, чем на три четверти метра, я закрыл собак в коридоре, завернул Габулю в одеяло и засыпал снегом, оставив, конечно, отверстие для воздуха. Потом выпустил сенбернаров, и они Габку тут же отыскивали, хотя я замел метлой все следы, а густой снег их мигом засыпал. Собаки нашли ее, откопали, стянули одеяло и принялись облизывать руки и лицо, согревая своим дыханием. Габа по-прежнему не шевелилась. Тогда Бой улегся с ней рядом, а Страж помчался в дом. Он чуть не разорвал мне штаны — так тащил на место происшествия. Увидев, что я уже иду, он кинулся за отцом, заскулил у маминых ног, а потом бросился опять к Габке.

А ведь этому наших собак никто не учил. Они знают все сами по себе, с древних времен.

Когда мы возвращались домой, стоял уже вечер, но такой светлый, как бывает только зимой.

Спасателям пришлось остаться в коридоре, потому что они были мокрые, и мне, честно говоря, впервые в жизни было за них неприятно. Словно я вошел в теплую кухню, оставив за дверьми хорошего человека только потому, чтобы он не наследил на чистом полу грязными ботинками.

Я вышел в коридор, чтобы собаки могли хоть перед кем-нибудь поважничать. Я-то знаю Боя, как он ждет, чтоб его похвалили, когда он найдет гнездо с яйцами или отнесет мне портфель. Только теперь он меня удивил. Ни он, ни Страж не понимали, на что они способны. Словно так и полагалось.

Я не мог оставить их на улице. Я обтер сухой тряпкой собачьи лапы и шерсть и взял псов в кухню. Они кинулись к Габочке, обнюхали, похватали лапами и, убедившись, что она жива и невредима, улеглись под стол и задремали.

Вот бы и мне так! Сделать такое, на что никто не способен, — и хоть бы хны, даже не похвастаться! Вот каким бы мне хотелось быть, и я не теряю надежды, что так и будет. А когда думаю о нашем Воке, то надежды у меня прибывает. Сколько он умеет! За что бы ни взялся — все умеет... А слышал кто-нибудь, чтоб он хвалился? Никто! И восхищаться им не разрешает. А ведь Вок мой брат. Мы из одного гнезда и должны быть друг на друга похожи! Так что у меня есть надежда, и большая. И я этому рад.

А еще я радуюсь, что столько снегу навалило. Мне уже опротивело обивать ноги по дороге в школу. Теперь я великолепно спущусь на лыжах. И вообще, по мне, могли бы и не расчищать дорогу для автобуса. Я бы ходил на лыжах до самой деревни. Обратно, конечно, труднее, и домой я добирался бы уже впотьмах, а этого наши не позволят. Пришлось бы мне ночевать у Рыдзиков под периной, а за такое удовольствие спасибо, это можно пожелать только Аурелю Майбану, который бросает летом в костер живых улиток. Ладно, буду уж ездить автобусом.

Да и шофер зимой веселее. Его не пугает черная долина, он смело гонит машину по крутой белой дороге и радуется, что обул автобус в новые покрышки.

— Дюро, — кричит он каждую минуту, — посмотри-ка! Вот это коготки! Видишь узоры за нами? Настоящая вышивка, а?

Нас действительно ни разу не занесло. Новые покрышки врезаются в покрытую снегом дорогу, как гусеницы танка, не гремит разболтанный капот, мотор весело поет тонким голосом, и начинает казаться, что при желании наш автобус мог бы спокойно забраться и на Дюмбер.

Теперь мы уже редко ездим одни. Управление государственными лесами начало спускать бревна по одной из долин, она называется Воловец. Раньше я и не знал этого. Услышал от лесорубов, когда выходили на седьмом километре и сказали, что идут до Воловца. Может, это они сами так называли долину, когда нашли там какого-нибудь заблудившегося вола. Хотя вола зимой не бродят. Наверное, наткнулись на какой-нибудь старый пень, похожий на вола. Не иначе. Я у них спрошу, и если это так, окрещу летом все долины вокруг нас. Одну можно назвать Коровья, другую Бой и Стражница. Выслежу, куда ходит Жофия к своим диким кошкам, и эту долину назову Жофьиной. И все в таком роде. Потом начерчу подробную карту с названиями, подпишусь и пошлю в Братиславу. Только одну долину, самую большую, оставлю без названия, чтобы в Братиславе могли ей дать мое имя — Трангошева. Неужели я этого не заслуживаю? А?

Кроме лесорубов, теперь ездят автобусом и лыжники. Особенно много их по субботам. Не какие-нибудь там городские туристы, разодетые в пух и прах, а самые настоящие лыжники. Чаще других Юло Мравец из Мыта. Он уже почти готовый слесарь, но с работы его отпускают довольно часто. Бывает, он забирается на Дюмбер по два раза в неделю. На нем свитер из овечьей шерсти и старые лыжные брюки, но ботинки у него блестят. А лыжи!.. Крепления «модерн», я таких не видел даже у самых расфуфыренных лыжников. Руки у Юлы красные от холода, на голове тонкая черная шапочка из материнского чулка. С собой у него кроны три, самое большее десять, — весь заработок он отдает матери, а на то, что сэкономит, покупает книжки о современном лыжном спорте. Когда кондукторша остается в деревне, шофер везет Юлу задаром, а мой отец задаром устраивает на ночлег и кормит. «Когда станешь чемпионом мира, пошлешь мне привет с олимпиады», — говорит отец. А Юло смеется в ответ: «Тогда возьму Дюро в обучение».

Он и сейчас учит меня по воскресеньям. Я лыжник неплохой, но до Юлы мне, конечно, далеко. До февраля Юло ходит еще в подростках, а потом уже станет совершеннолетним и сможет участвовать в первомайских гонках на Дюмбере. Он мечтает выиграть гигантский слалом и «альпийскую комбинацию», и, по-моему, выиграет.

Этот Юло Мравец свой прошлый выходной продлил до понедельника, и утром мы вместе надевали лыжи и мчались на автобус. Он на работу, а я в школу. Шофер подъехал к остановке одновременно с нами, и тогда Юло придумал замечательную штуку.

— Зачем мы будем таскать снег в автобус, — начал он уговаривать шофера через окно, — мы прицепимся сзади, вы нормально поедете, а мы в прицепе за вами. На лыжах. Ладно?

— Ну давай, давай! — засмеялся шофер. — Снимайте лыжи — и марш в автобус, люди ждут.

— Ну, дядя, — начал и я просить шофера, — возьмите нас, ведь мы хорошие лыжники.

— Хорошие... плохие... Сломаете себе голову, а меня за решетку. Лезьте или оставлю вас здесь!

— Посмотрите, — не отставал Юло, уже завязывая узлом на поясе тонкую силоновую

веревку, — этот длинный конец проденем под лесенку, и я буду держать его в руке. Вот так. Если я упаду или что-нибудь еще, то веревку отпущу, она выдернется из-за лестницы, и вы поедете без забот дальше, а я или Дюро останемся на дороге. И спустимся за вами на лыжах.

Шофера это заинтересовало. Юло подмигнул мне и протянул тонкую веревку. Я, следуя его примеру, быстро привязался. Значит, он, ловкач, все заранее продумал и приготовил веревки.

— Ну вот, — сказал, демонстрируя, Юло, — как только мы отпустим веревку, вы ежайте нормально. Мы не психи, чтоб тащиться за вами на брюхе. Отпусти — и все. И билет купим, если надо.

В ответ на это предложение шофер засмеялся, явно нам уступая.

— Если идете на своих на двоих, за что же платить?

— В Швеции это дело обычное, — придумывал на ходу Юло. — Зимой вся молодежь так ездит. Называется это скьоринг. А что, вы хуже шведа, что ли?

— Дело ваше, — шофер сел за руль, — но если кто-нибудь из вас расквасит нос, может жаловаться шведам, а я тут ни при чем.

Мы уцепились за веревку, постукали лыжами, чтоб не тормозил прилипший снег, и приготовились.

— Ноги немного расставь, — командовал Юло, — и присядь, чтобы пружинить!

Мотор громко заурчал, нас обдало газом, шофер крикнул «Пошли!» и дал короткий сигнал.

— Внимание! — крикнул Юло. — Откинуться назад!

В эту минуту автобус двинулся, веревка с громким треском натянулась, как струна, какая-то сила сдавила мою поясницу и бросила оземь.

— Отпускай! — крикнул Юло.

Но я так и не отпустил веревку. Вначале я ехал на боку, потом на зад, пока мне, наконец, не удалось подняться и крепко встать на лыжи. А потом все было здорово. Мечта! Скьоринг — лучшая вещь на свете. Ты без всяких усилий мчишься вперед, ветер свистит в ушах, то присядешь, то выпрямишься. Я вообще готов так всю жизнь мчаться на лыжах. Перед каждым поворотом шофер давал сигнал, мы подтягивали веревку и прижимались к автобусу, делая поворот вместе с ним. Ведь если лыжник оставит веревку длинной, то при резком повороте может махнуть прямо в ручей. На третьем километре Юло стал выделять разные штучки. Ехал на одной лыже, потом на другой, исполнял какой-то индейский танец и выкидывал разные коленца.

Я на это не отваживался, и не потому, что боялся, просто я обессилел от смеха. У деревни дорога выпрямилась, мы забыли о поворотах, и это стало для нас роковым. Мы не заметили большую кучу лошадиных «яблок» посреди дороги.

Вернее, заметили, да поздно, когда растянулись, споткнувшись об эту, еще теплую кучу. Веревка выскользнула из наших рук, и милый старый автобус понемногу исчез вдаль, как та «лодочка молодости», про которую поют на нашей старой граммофонной пластинке.

В школу я опоздал, и Фукач чуть не выбил мне палкой зуб, скидывая с моей головы шапку. Что ж, я сам виноват. Я вспомнил о нашем славном финише и уже не смог спокойно стоять на

месте. Вот почему он не попал в цель. \* \* \*

Один парнишка дал мне ремень от конской упряжки с восемью колокольчиками. Уже давно я подыскивал что-нибудь в этом роде для Боя и Стража. Хочу повесить им на шею, чтобы звенели, когда собаки возят Габульку на санках. Ремень я разрезал пополам, четыре колокольчика привязал Бою, четыре — Стражу. В восторг они не пришли. Бой, тот просто испугался, кинулся бежать, но чем быстрее он бежал, тем громче звенело у него на шее. А он, дурак сумасшедший, не мог понять, что этот невыносимый звон от его собственного ошейника и что от него он не убежит, даже если бы у него выросли крылья. Страж, тот сразу понял, в чем дело, и остановился как вкопанный. Только временами потряхивал головой, убеждаясь, здесь ли еще они. Я прикрепил колокольчики к санкам — правда, сзади, — пусть звенят, но псов не пугают. Иначе они могут вместе с Габой врезаться в дерево. Ведь сани у нас горные, с лыжами вместо полозьев, и можно на них ехать не только по расчищенным дорожкам, но и в гору.

Возить санки я научил псов в прошлом году. Тогда они были еще глупыми, и мне приходилось держать у них перед носом кусок колбасы. И все равно: когда Бой рвался везти санки, Страж сидел как вкопанный; а когда Страж решал наконец двинуться, усаживался Бой. Потом я их обучал каждого в отдельности, и дело шло лучше. Бой учился охотнее, и ему мы сшили с мамой белую, прямо королевскую упряжь. Теперь оба уже стали умнее, охотно бегают с санями вверх в гору, и когда мы готовимся ехать, сами суют головы в упряжь.

Больше всех они любят возить Габулю, и я им не удивляюсь. Когда она надевает заячью шубку и красную шапочку, обшитую лисьим хвостом, то выглядит настоящей принцессой с далекого Севера. Шарфик белый, вышитый впереди красными розочками, и красные пушистые рукавицы. Внизу лыжные штаны, но их не очень видно. Сядет в сани, возьмет в руки вожжи и крикнет — псы от радости места не найдут. А я бегу за ними на лыжах; они, правда, часто обгоняют меня, исчезая с глаз, и только по крику и пению я узнаю, куда они мчатся. Еще и для этого я привязал к саням колокольчики. Теперь уж сани от меня не скроются где-нибудь в горах.

А еще колокольчики мне были нужны вот зачем. Приедут к нам на зимние каникулы школьники, и мы будем возить их чемоданы, а колокольчики будут звенеть-вызванивать.

И не только чемоданы, но и рюкзак одной ученицы 7-го класса брезнянской школы...

Мы с Габкой уже подыскали три рождественские елки. Одну, небольшую, в родительскую комнату, вторую, побольше, — нам. Третья, под самый потолок, будет стоять в столовой. На этой не будет ни конфет, ни шоколадок, а в основном стеклянные шары, свечи и длинные серебряные нити. Эта елка всегда самая нарядная, зато наша — самая «полезная», хотя особой красотой не отличается. Да и как она может быть красивой и нарядной, если дня через три на ней болтаются только нитки от шоколадок, а от конфет одни бумажки!

Я злюсь, что не могу срубить елки сам. Я уже звал отца, чтобы он помог мне их нести, но он ни в какую. Елки — дело Йожки, и если мы его опередим, он наверняка рассердится.

Обычно я никому не делаю рождественских подарков, но не потому, что у меня нет денег. Денег бы я накопил. Мама всегда оставляет мне сдачу, когда я хожу за покупками, и вообще я мог бы достать деньги и другими честными способами. Но даже имея я тридцать крон, все равно не придумал бы, кому что купить. Габульке еще можно какую-нибудь куклу, но покупать куклу мне просто противно. В магазин мы обычно заходим прямо из школы целой компанией, и не могу же я стать посмешищем из-за дурацкой куклы.

Но в этом году я придумал такое, что никому и в голову бы не пришло. Правда, если, конечно, он не нашел бы, как я, такую же верхушку сосны, не обрезал сучки и не обнаружил, что на столе это сооружение может стоять, а если ствол заровнять и внутри выдолбить, то

получится чудесный ароматный подсвечник. Кору я очистил, и раскаленной проволокой на светлой древесине выжег орнамент. Подсвечник, по-моему, получился что надо и ничего мне не стоил, только две кроны двадцать геллеров я заплатил за красную свечку. Это родителям. Габульке и Юле я купил зеркальца за несколько геллеров, но дело не в них. Главное, что я выпилил из светлого дерева рамки и тоже выжег проволокой их имена — Габриэла и Юлия, — это было очень трудно. На все деньги, которые я сэкономил, я купил Воку складной ножик со всякими штуками и даже со штопором. Их было всего пять штук, и я взял последний. Все ребята мне завидовали, когда я его покупал.

Интересно, меня-то чем дома порадуют? Может, я зря старался. Хотя не может быть. У меня предчувствие, что мне свалятся с неба лыжные палки. А если бы еще ботинки-вибрамы, которые летом нельзя было достать даже в Быстрице, то больше ничего не надо. Должны же они меня обуть. Ведь не пойду я в школу босиком. Пусть только не покупают каких-нибудь дурацких ботинок. Ведь вибрамы могут выдержать и два года! Только покупать их надо больше размером. Честное слово, скажу все это маме, хотя обычно я вещей не выпрашиваю. Ношу, что купят. Но вибрамы мне хочется. И еще техасы. И свитер, как у Вока.

Да, не самый плохой праздник — рождество. Получаешь подарки, льют в формочки шоколад, нет уроков, школьники возвращаются домой, и наш дом полон лыжников.

Бой может радоваться, что я его не пришиб, когда узнал, что этот балда все напортил.

В предпоследний день перед праздником он не явился встречать меня. Еще издали я понял почему: он сидел на цепи! С тех пор как я живу на свете и стоит мир, у нас такого не случалось ни с одной собакой!

Что же он такое опять натворил?! Не могу себе представить такого преступления, из-за которого отец может посадить собаку-спасателя на цепь, а мама с Габкой это допустить.

По ступенькам сбежала Габа. Бой загремел толстой цепью и попытался дотянуться до нее. Но она на него даже не взглянула. Бой продолжал прыгать. Габка повернулась и изо всей силы треснула его своей маленькой ручкой.

Я кинулся Габуле навстречу. Она бежала ко мне и готова была вот-вот расплакаться.

— Свинья противная! — кричала она. — Противная собака... Знаешь, что он натворил?

— Что?

— Серночку, — всхлипывала она, — серночку сожрал!

— Не болтай! — окаменел я. — Какую серночку?

— Живую! В лесу...

Я перевел дыхание. Не может быть! Глупости. Без ружья серну не поймать никому, разве только волку или рыси. Во всяком случае не такому увальню, как наш Бой.

— Кто посадил его на цепь? — спросил я спокойно.

— Папа! — стала успокаиваться Габуля. — Знаешь как он лупил его! Ужасно! Поймал на месте...

— Где он его поймал?

— Он из снега выгребал мясо и собирался жрать.

— Что за мясо? Из какого снега?

— Да я же говорю тебе! — обиделась Габочка. — Мясо серночки. Целую заднюю ногу!

— Что ты путаешь? — крикнул я. — То говоришь — из-под снега, то серны.

— Да, серны! — плакала Габуля. — Да, из-под снега...

Я оставил ее и побежал в дом искать отца. Одно мне было ясно: ни за что ни про что отец не посадит Боя на цепь.

В кухне я узнал страшную правду.

Уже два дня Юля замечала, что Бой не ест из общей миски. Немного похлебает и исчезает. Из окна кухни она проследила, как он прокрадывается за пороссячий хлев на опушке леса и как потом облизывается, возвращаясь обратно. Утром она пошла за ним, но Бой ее заметил, обогнул с невинным видом хлев и вернулся к миске. Но только Юля не дала ему есть. А потом рассказала обо всем отцу. Голодный Бой через полчаса снова отправился к лесу и налетел прямо на отца, поджидавшего его за хлевом. Бой не учуял отца, стоявшего против ветра, ловко разгреб снег и, пристроившись к мясу, приготовился спокойно поесть. Когда отец оттащил его, Бой впервые в жизни оскалил на него зубы. Страж делает это частенько и на кого угодно, кроме отца. Бой никогда ни на кого не ворчит и зубы не скалит, а тут вдруг на отца!

Сбесился! Наверняка сбесился, бродяга несчастный!

Я выбежал на крыльцо и поглядел на Боя, сидящего на цепи. Вид у него был кроткий и несчастный. Увидев меня, он жалобно заскулил, прося, чтобы я освободил его. Сиди, сиди, кровожадная собака! От меня пощады не жди!

Так и осталось загадкой, откуда Бой взял эту серну. Или сам ее поймал, или нашел ее, убитую браконьерами. Не удалось установить, откуда он ее приволок, а потом так хитро зарыл в сугроб. Теперь почти каждый день идет снег.

— Может, это был только один кусок? — сказал я. — Ведь мы обнаружили только ногу.

— Неважно, — проворчал отец, подошел к Бою, дал ему понюхать кусок мяса и как следует отодрал ремнем.

Он повторял порку почти каждый час или еще чаще.

— Теперь посмотрим, — кричал он, — выбью ли я из тебя мясоедские замашки! А если нет, прощайся с жизнью, шакал несчастный! Гиены мне не нужны. Или станешь снова благородным псом, или застрелю тебя в каменоломне!

Я испугался, хотя не верил никак, что Бой сам задрал серну. Может, он ее просто нашел? Он, конечно, не должен есть сырое мясо, но за находку еще никто не заслуживал пули!

— Вот видишь, — сказал я ему, когда отец отошел. — На кой тебе это было нужно? Плюнь ты на мясо или прощайся с жизнью! Так разозлить хозяина! Не смей набрасываться на все, что находишь!

Я взял мясо, сунул ему под нос, чтобы он лучше понял, что я говорю. Но Бой уже так боялся этого запаха, что сразу забился под ступеньки и глядел на меня оттуда жалкими глазами. Казалось, он сейчас заплачет.

Я думаю, что он больше такого не сделает. Но выволочку он получал еще несколько раз. Тут



уж я ничем не мог помочь. Отец, наверное, боится, как бы Бой не разорвал, чего доброго, выбившегося из сил человека. Но я в это не верю! Я знаю Боя и знаю, что он, конечно, жулик, но на преступление никак не способен! Если нужно будет помочь человеку, он будет помогать до тех пор, пока сам не выбьется из сил. Это в нем сильнее всего, хотя у него полно разных недостатков — например, любовь к мясу.

Когда Бой получал трепку, Страж в коридоре лаял и завывал так, словно ремень танцевал по его собственной шкуре. Он даже выбежал на улицу, но приблизиться к отцу не посмел. Интересно то, что Страж все это время ел нормально, из общей миски. Или Бой спрятал от него мясо, или Страж просто не жрал его, потому что не хотел, не такой характер. Скорее последнее. Нет такого тайника, который бы Страж не обнаружил, конечно, если хочет.

Ну, а этот Бой просто дрянь! Хорошая трепка ему не мешает. Если я его жалею, вовсе не значит, что я вообще против трепки.

Да, да еще как! Хотя бы за то, что испортил все рождество. Завтра и послезавтра мы должны встречать у автобуса школьников. Санки бы чудесно звенели под заснеженными деревьями. Вок бы смеялся, девчонки восхищались моей вышколенной упряжкой, а теперь главный участник сидит на цепи. Отлуплю его!

Нет, конечно, не отлуплю. Ему и так хватило без меня. Лучше упрощу отца — пусть отвяжет его хотя бы на то время, когда мы повезем багаж, а потом, конечно, опять на цепь.

Да только отец, наверное, не разрешит. Пропадет наука. Бой должен сидеть на привязи до самого Нового года. И спать на улице. В будке. Тут я отца понимаю. На рождество много гостей, собаками заниматься некогда. Что, если Бою и в самом деле понравилось охотиться и он при первой возможности удерет в лес?

Красиво же мы будем выглядеть перед людьми! Сенбернар, благородный спасатель, и вдруг на цепи! Такое не каждый день увидишь! \* \* \*

Мы продирались сквозь густую молодую поросль. Даже на метр ничего не видно. Я и не знал, что у нас под боком такие густые леса. А может, вовсе и не такие уж густые, просто в этой метели все сгустилось, даже сам воздух. Дышать стало трудно, глаза слепили крупные хлопья мокрого снега. Мы промокли до костей и вспотели. Я в жизни еще не видел такой метели — свирепой и теплой.

Йожо и Страж куда-то исчезли. Я остановился, сердце колотилось, и я в отчаянии кричал, вертясь во все стороны. Но это все равно что кричать в мокрую перину. Я сам едва слышал свой голос. И стал даже сомневаться, издаю ли я хоть звук. Я ударил себя новыми лыжными палками. Раздался звук, но какой-то глухой, задушенный мокрым снегом. Меня не слышат! Никто не может меня услышать, а я не знаю, в какую сторону идти.

Я повернулся к ветру спиной — так можно хотя бы перевести дыхание — и снова дал знать о себе. Засвистел. Может быть, свист услышат. Или крик, если крикнуть погромче.

Я решил ждать на месте. Заблудившийся человек не должен носиться как угорелый. Его найдут, если он останется на том месте, где его потеряли. Плотный воздух был неестественно теплым, замерзнуть я не замерзну, даже если прожду до самого вечера.

Зря я соблазнил Йожку отправиться на эту прогулку. Когда я напрасно прождал Ливу у автобуса, мне вдруг захотелось посмотреть, как она поживает у себя на Партизанской хате. Метель застала нас на полпути. Мы хотели вернуться коротким путем, перевалив через первую гору, но погода ухудшалась так быстро, что вскоре мы сбились с пути. Наш дом должен быть совсем близко.

Совсем близко! Но в какой стороне? Я знаю округу хорошо, но ведь не могу же я знать каждую несчастную сосенку! По этим четырем паршивым деревцам, например, что хлещут меня мокрыми ветками, я вообще не могу ориентироваться. А дальше ничего не видно.

Эх, сидеть бы нам дома! Побегать на лыжах на холме за домом, поразить туристов бешеным слаломом. Там нам нет равных. Ведь мы тот холм исколесили вдоль и поперек по меньшей мере сто тысяч раз. А начнись метель, мы шмыг в дом!

Но я уже с самого утра думал про то, как завтра или послезавтра заявится долгожданная Яна, и мне Йожку не видать как своих ушей. Поэтому я и заманил его на Партизанскую хату. Хотя слышал, как отец предупреждал туристов, чтобы не ходили далеко: барометр падает и при этих постоянных оттепелях могут быть лавины. Я, честно говоря, подозревал, что отец хитрит: говорит так, чтобы туристы не расходились и заказали побольше обедов.

— Страж! — крикнул я. — Балда ты! Какой же ты сенбернар, если не можешь найти собственного хозяина?

Я ругался уже просто так, хотя, может, именно это и помогло! Близко, совсем рядом, я вдруг услышал хриплый лай Стража. А потом голос Йожки.

— Привет, пропавший! — кричал он мне прямо в ухо. — Давай палку, возьму тебя на буксир!

На лбу у Йожки лежали слипшиеся мокрые волосы, по бровям, ресницам и всему лицу стекали серебряные струйки. Черная куртка промокла не только на широких плечах, но и на груди. Если б я был на месте Яны, Йожка мне бы тоже нравился.

Метель стала не такой страшной. Нет, она не утихла и не прекратилась, просто когда ты не один, когда вас трое, все уже кажется не таким страшным.

Через полчаса мы почуяли запах дыма, запах человеческого жилья. И не могли удержаться от смеха, когда оказалось, что подходим к дому совсем не со стороны Партизанской хаты, а от Шпрнагеля. Вот тебя и на! С обратной стороны!

Дома уже был переполох. Когда отец установил, что все туристы вернулись еще до того, как началась метель, он пришел и сказал маме, что обедов должно быть шестьдесят. Юля побежала к нам в комнату звать меня чистить картошку. Но меня и Йожу уже и след простыл. Мама страшно испугалась (от этого ее никто не отучит), я, кажется, слышу, как она кричит:

«Посмотрите в сарае, где их лыжи!»

Нашими лыжами, конечно, и не пахло. Мама от страха даже не могла говорить. Она немного успокоилась, только когда выяснилось, что и Стража тоже нет. И принялась печь пирог.

Отец стоял возле дома. Низко надвинув на лоб меховую шапку, он пытался трубить в охотничий рог Рыдзика. Раза два ему это удалось, но из рога вырвалось такое жалкое блеяние, будто овца старалась зареветь, как олень. И по этому-то сигналу мы должны были ориентироваться! Отец давно уже требует, чтобы «Турист» установил у нас колокол, как на Партизанской хате. В метель или при большом тумане там звонят, подавая сигнал заблудившимся. Над колоколом висит сильная лампа, и в плохую погоду она светит, как маяк на острове. Яркий свет в тумане виден далеко. Уже не одному человеку так спасли жизнь. А моему отцу из «Туриста» ответили: «Ваша романтическая просьба требует слишком больших расходов. Считаю колокольную ненужной. Честь труду!» Отец прочитал нам ответ и разорвал письмо на мелкие клочки.

И вот он, бедняга, хочет спасти нас бычьим рогом, в который и трубить-то не умеет.

Когда мы вынырнули рядом с ним из метели, он перевернул рог и неожиданно врезал мне

узким концом. Как будто я виноват, что он трубить не умеет!

— Вы что, с ума спятили?! — продолжал он кричать, когда мы уже раздевались. — Уйдут и ни слова ни отцу, ни матери не скажут, куда это они изволили отправиться...

— Верно, верно, — поддакивала ему Габа, косясь на нас.

— Через два часа стемнеет, мать тут умирает от страха, а им хоть бы что! Я вам покажу приключения! Где вас носило?

— Да тут, около дома, — сказал Вок, а я помалкивал.

— Около дома! Битых шесть часов! — бушевал отец.

— Врут! — подстрекала Габа.

Больше всего мы поразились, узнав, что после обеда прошло уже два часа. Нам не верилось, что мы так долго блуждали среди метели. Часов у нас нет; Йожке только обещают подарить в этом году к окончанию, а мне даже не обещают. Солнце мы, естественно, не видели и о времени не имели никакого представления. По солнцу мы определяем время довольно точно. Например, сейчас, в декабре: если солнце, скажем, в метре над Гапликом — значит, три часа. По солнцу легко определить, и по звездам можно, но не родился еще такой умник, который определил бы время по метели. По метели можно узнать, день сейчас или ночь, но это нам, к счастью, не понадобилось.

Мы с Йожкой сразу почувствовали себя хорошо, когда, переодевшись во все сухое, стали носить матрасы и готовить себе постели у родителей. Габуля будет спать с Яной у нас в комнате.

— На этот раз она приедет железно, — сиял Вок. — А ты должен взять на себя Габу, чтобы она не прицепилась к Яне в первый же день. Габуля, конечно, милый ребенок, но ты же знаешь: если она прицепится, то уж не отстанет.

Да, это мне действительно известно. Только сомневаюсь, что ее можно усторожить, чтобы она не выкинула такую же штуку, как тогда с Ливой. В ней никогда нельзя быть уверенным. Наверняка что-нибудь придумает, хотя у Боя нет теперь блох и вообще он сидит на цепи.

В сочельник отец взял его в дом в девятом часу, после ужина, когда с праздничного стола перепадает кое-что и всем нашим животным. Юля тащит курам крошки и корки, чтобы хорошо неслись, и пороссятам тоже кое-что, чтобы набирали вес и чтобы к январю они нагуляли толстый слой сала. Бой был счастлив, хорошо себя вел; он даже не подвывал, когда мы пели рождественские песни. Я бы с удовольствием посмотрел телевизор (он у нас работал только два дня), но в столовой было полно народу, все сидели около елки, освещенной электрическими свечками, и пели. Телевизор даже не включили. На наших елках горели восковые свечки; они чуть дымили, хвоя тлела, и вся комната так благоухала, что хотелось плакать. И у нашей мамы на глазах выступили слезы, когда мы в два голоса затянули «Пасли овец пастыри». Когда отец погасил свет, Йожко потихоньку поцеловал маме руку, но я это заметил, и мне стало досадно, что не я сижу с мамой рядом. Тогда я выбрал на елке свечку, уставился на ее пламя и представлял, что, может быть, в эту самую минуту и Лива смотрит на такую же свечку и думает обо мне. Наверняка думает. Ведь они так же, как и мы, не могут сесть за ужин, пока не обслужат туристов. И наверняка их туристы тоже потом уже ничего не просят, чтобы люди могли спокойно и тихо посидеть со своей семьей и подумать о тех, кого нет с ними рядом. Как я сейчас думаю о Ливе. Не знаю, надевают ли Смржовы на верхушку елки наконечник. Мы — нет. У каждой елки на макушке есть такие веточки, из-за которых нельзя насадить наконечник, а мама не разрешает нам их отрезать, потому что есть примета, будто тогда в семье в этом году кто-нибудь умрет. Отец над этим смеется, но верхушку не

срезает. А мне елка с нормальной зеленой верхушкой нравится больше. В столовой на елке надет нарядный наконечник с колокольчиками. Эта елка уже не для нашей семьи. Туристы этой приметы не знают и очень удивились бы, не укрась мы елку наконечником.

— Я пойду загляну в столовую, — сказал отец, — чтобы наши туристы не погибли от жажды.

Он не может долго выдержать в нашем семейном кругу.

— Поднимайся, Бой! — крикнул отец из кухни. — Возвращайся-ка на цепь!

А мы-то надеялись, что отец о нем забудет. Но не таков наш папа! Мама стала отца упрашивать, но Бой послушно поднялся и побрел в темноту на цепь. Наверное, он действительно изменился. Его грызет совесть, и он сам хочет отбыть справедливое наказание.

Конечно же, мы за эту покорность жалели его еще больше. Ведь для него, бедняги, рождественская ночь так быстро кончилась!

Мы с Йожкой решили выпросить у отца Боя, когда пойдем встречать Яну. Она приедет одна, за день до сочельника, это уже известно наверняка, Йожко попросил маму, и она написала в Ружомберок: пусть, мол, Янины родители не боятся и отпустят Яну к нам, мы за ней присмотрим. Они ответили, что Йожку знают (но откуда?) и охотно отпустят Яну на несколько дней на попечение его уважаемых родителей (ага, значит, у нас уже имеется уважаемая невеста!). А Йожку они приглашают на пасху (что это значит? Он теперь совсем не будет появляться дома, что ли?).

Я продемонстрировал Воку свой «восторг». Но ему хоть бы хны, он даже не разозлился. Он тихонько насвистывал, опершись локтем о колено, и поглядывал на меня. Потом неожиданно схватил со стола стакан и бросил его мне. Я поймал, бросил обратно, он снова мне, а я ему.

Это у нас такая игра в «неожиданность, быструю реакцию и тихую скорость». Игра с чашкой, стаканом, тарелкой — словом, с чем-нибудь, что может разбиться, если упадет на пол. Но мы еще в жизни ничего не разбили.

Так мы перебрасывались стаканом довольно долго. Я уже хотел выскочить в дверь, но стакан полетел следом за мной. Я едва поймал его.

— Собираешься жениться, Йожко? — спросил я со стаканом в руке.

— Когда я тебя воспитаю, чертушка! — засмеялся он и приказал: — Бросай!

Но я не стал бросать.

— Послушай, братец, — сказал Йожка папиным голосом, — твое дело — сани и Габа. Во-вторых, напоминаю тебе о вежливости. Тебе это, конечно, нелегко. Ты достаточно одичал. Но Яна — самая прекрасная девушка в мире, и для тебя не составит труда быть с ней вежливым и внимательным.

Вы только поглядите! Он меня учит! Значит, я одичал! А он нет! А по-моему, это он сумасшедший. Ха-ха-ха!

Добро! Сани так сани. Колокольчики есть. А если жениху понравится, привяжем и ленточки.

Не знаю, как будет с Боем. Сегодня и так отец разозлился из-за этого проклятого охотничьего рога и из-за нас с Воком. Когда он разозлится, то даже не выслушает еще, чего мы хотим, как сразу же запретит. Особенно мне, Йожке не так.

Хотя до завтра все может сто раз перемениться. \* \* \*

Я воспитывал свою волю целый день, и когда автобус подъезжал, я, сделав каменное лицо, как у индейца, уже был готов ко всяким неожиданностям. Меня ничто не выведет из себя, решил я, ни объятия, ни поцелуи, как в глупом фильме, когда мы все свистим. Это дело Йожки, я просто у него погонщик собак, и только!

Лыжники медленно выходили. Автобус уже почти опустел, а Йожко все стоял, застыв на месте как пень. Тут из автобуса наконец выскочила девушка. Она засмеялась, сверкая белыми зубами со щербинкой посредине, и, чтобы вывести из оцепенения Йожко, набрала в руки мокрого снега и залепила ему прямо в обалделую физиономию.

Я на миг сбросил свою каменную маску индейца. Но только на миг.

— Привет, Янка! — опомнился наконец Йожка. — А я уж думал, ты не приедешь. Куда ты запропала?.. Ну, добро пожаловать!

Они стояли друг против друга как дураки, а я потащил в сани черную кожаную сумку и три пары лыж. Они протянули друг другу руки, а потом стояли, словно не знали, что надо делать, и мне приходилось вкалывать за всех.

— Дюро! — крикнул вдруг Йожка, словно только что открыл Америку. — Ты не знаешь, что надо познакомиться? Янинка, это мой брат.

Так бы и врезал ему! Сам не знает, с чего начать, и от смущенья топит меня. Но я ему здорово отплатил.

— Погонщик собак Трангош Юрай, — встал я по стойке смирно.

И когда Яна протянула мне руку, я со смиренным видом ее поцеловал. Как в цирке. Глупо, конечно, но смешно. Они рассмеялись, а я вернулся на свое место — к собакам. Яна оказалась рядом со мной. С минуту разглядывала мою упряжку, а потом протянула руку:

— Привет, Страж!

И это был действительно Страж. Он удивленно подал ей лапу. Бой, как обезьяна, тоже. Наверное, Вок столько нарасказывал ей про наших собак, что она узнала Стража по черным ободкам вокруг глаз.

В гору мы поднимались пешком. Мокрый снег чавкал у нас под ногами.

— Если нельзя на лыжах, можно на лодке, — сказала Яна (настоящая ящерица: вильнет хвостиком — и не удержишь).

— Уж не думаешь ли ты, что мы будем ходить на лыжах здесь, — возразил Вок. — Там выше снег хороший. Посмотрим, Янка, что ты умеешь!

Ага, и мне интересно.

Я шагал впереди упряжки, за мной заливались-звенели сани, а следом тащились наши голубки. Воображают, будто я не вижу, как они каждую минуту хватаются за руки. Хо-хо! Да у меня, кроме обычного зрения, есть еще и второе, и я вижу все, особенно что творится у меня за спиной. Думают, я клюну на их фокусы. Вок повалил Яну в снег и всю извалял.

— Вот как у нас встречают гостей! — кричал он.

Глупости! В жизни мы никого так не встречали.

Яна вскочила и, не переставая смеяться, стала вытирать лицо, а Йожо собственноручно стряхивал с ее волос снег. Волосы у Яны светлые и длинные, как у дикарки. Только она красивая, не такая, как в учебнике по истории. Шапки на ней нету, и светлые длинные волосы падают свободно. У нас девушки так не причесываются, но нельзя сказать, что это ей не идет. Глаз, правда, почти не видно. Йожка, наверное, видит, а я нет. Яна ни минутки не постоит спокойно.

Некоторое время позади стояла подозрительная тишина, а потом Йожо крикнул:

— Эй, Дюро! Погоди! Остановись!

— Нет-нет, — отказывалась Яна, но таким фальшивым голосом, что никто бы ей не поверил.

— Сумку понесу я, — начал командовать Йожка, — а в сани посадим Яну. Она в таких санях еще ни разу не ездила.

— А им не будет тяжело? — беспокоилась Яна, а сама усаживалась в сани.

— Подожди, — сказал я, перекладывая лыжи, чтобы Яне было удобнее.

— Нет, им меня не дотянуть, — твердила она, уже сидя в санях.

— Дотянут, — махнул я рукой. Но собакам, которые с любопытством озирались назад, я про себя сказал: «Скоро будете без работы», потому что сани стонали и скрипели, как будто в них уселось по крайней мере четыре Габы.

Подъем был не такой крутой, и сани медленно сдвинулись с места, но полозья зарылись в снег, и собаки топтались на месте. Все восемь лап расшвыривали по сторонам комья мокрого снега, и было похоже, что это снаряды ракетной артиллерии. Снежные комья летели прямо в Яну, а она покатывалась со смеху. Вок подтолкнул ее в спину, сани сдвинулись, и мы с криком стали подгонять упряжку, чтобы она, чего доброго, снова не застряла.

Да только наши сани тем и хороши, что если уж разбегутся, их не остановишь. Бой прямо бесился от радости. После долгого сидения он мог наконец побегать на свободе. Он заливался радостным лаем и увлекал за собой Стража. Сани летели стрелой, Яна визжала, а мы мчались вслед за санями.

Когда мы добежали до поворота, саней и след простыл.

Вок нахмурился, а я чуть не лопнул от смеха, представив, как удивятся наши, когда под окном зазвонят сани и Бой со Стражем громким лаем возвестят о прибытии ее величества принцессы Яны из Ружомберока, но без свиты и провожатого.

Я догнал Вока, подхватил с другой стороны Янину сумку, и мы торопливо зашагали к дому.

Потом мы бежали так, что у меня закололо в боку.

— Попадет твоя Яна прямо к Габке в лапки! — не выдержал я.

Дома все было не так, как я представлял себе. Яна, в одних носках, сидела напротив отца с мамой. Она была очень взволнована, и тут я увидел, что глаза у нее большие и синие, — наверное, поэтому я с трудом узнал ее. Мама потчевала Яну бутербродами, но Яна держала в руке маленький рогалик и по крошке отщипывала от него. Мне показалось, что откуси она чуть больше, то непременно подавится, и я заволновался, как бы она не сделала этого, ведь мама ее так настойчиво угощала.

Отец сидел как на иголках и все время повторял: «Конечно!» и «Как поживают ваши

родители?» На отца это непохоже, обычно он любит пошутить с барышнями, и они его за это обожают.

Но еще необычной вела себя Габулька. Она втиснулась в промежуток между стеной и кухонной полкой, где стояла большая солонка, и издали, через открытую дверь, рассматривала Яну.

Вок вошел в комнату прямо в лыжных ботинках. Яна, увидев нас, явно повеселела. Но Вок — как это ни странно — вдруг тоже смутился. Преодолев смущение, он подошел к Яне, взял ее за руку и сказал каким-то чужим голосом:

— Это Яна, мамочка.

Тогда отец рассмеялся.

— А мы уже познакомились. Эх вы, кавалеры! Доверить красивую девушку таким сумасшедшим, как Бой и Страж!

Яна покраснела, и я испугался, что она сейчас заплачет. Я обозлился на отца. Хотя я знал Яну совсем мало, но уже любил ее и совсем не удивлялся Воку. На отца я злился, что он ломал тут комедию с «красивой девушкой», а на себя — за дурацкие номера с целованьем руки.

— Ты не боялась, когда сани понесли? — спросил я всем назло нормальным голосом.

— Нет, нет, — засмеялась она наконец, — я только не знала, где мы остановимся.

— Извини, — сказал я и уселся, — мы не нарочно.

— Все было очень здорово! — сказала Яна, и это получилось у нее очень мило. — Только откуда у них столько сил? И Бой такая прелесть! Все хотел меня облизать, как будто знает меня.

И она как-то очень хорошо посмотрела на Вока.

Ясное дело, Бой! Уже подлизывается, бродяга! Не удивительно, что его все любят!

Отец начал рассказывать, что Бой теперь не свободная собака, а арестант. И проговорился — по какой причине.

Яна ужаснулась, но я за отцовской спиной стал делать ей знаки, чтобы она не верила этому. Это ей пришлось по душе.

Только Яна все время оглядывалась на Габу. Ей, конечно, было неприятно, что Габуля к ней не подходит.

— Ты что стоишь, как соляной столб? — накинулся я на Габу.

Я специально сказал «соляной». Когда Габа была маленькой, она таскала не сахар, как другие дети, а соль из большой деревянной солонки. Мама заметила это и переставила солонку на две полочки выше. Габа стояла, так же как сейчас, за полкой, капризничала целый день, но не говорила ни слова. На другой день солонку не переставили ниже, тогда она решила и, вся красная от злости, закричала:

— Что это за полядки? Где соль? Вчела была тут, а сегодня нету! Что это за полядки?

Родители до сих пор вспоминают, как они хохотали.

— Вылезай-ка отсюда, ты, столб соляной! — дернул я Габу за лыжные штаны.

— Нет, — разозлилась она, — иди ты сюда!

Я наклонился к ней.

— Кто это? — спросила она шепотом и вытаращила глаза.

— Да Яна! Та, что пишет Йожке из Ружомберока письма!

— Нет, — упрямылась она.

Да, странный народ эти дети. Кто знает, какой представляла она себе Яну? Может, как подружку для своих игр, маленькую девочку? А теперь разочарована и обижена, как в тот раз, когда от нее спрятали соль.

Или, может, она обиделась, что ее Яне не представили? Наша Габуля очень обидчивая, особенно когда взрослые не уделяют ей достаточно внимания. Чуть что — надуется и глядит, как звереныш.

Вот и сейчас я никак не мог вытащить ее из угла.

И только когда Вок повел Яну в нашу комнату распаковывать вещи, Габа не удержалась и побежала за ними. Наша комната — это ее царство. Тут уже она не могла допустить, чтобы Яну привел сюда кто-то другой.

Если пошла — Габа, значит, могу и я. Я пошел. И хорошо сделал. Нам было так хорошо, что мы до самого вечера не показывались вниз. Мама принесла нам сюда целое блюдо пирожков, а Юля — чаю. И никого не звали в кухню чистить картошку или вытирать посуду. Только Яна все беспокоилась и порывалась идти вниз помогать.

— Еще чего! — отвечал ей Вок. — Устраивайся поудобней, Янка, ты ведь устала. Забирайся спокойно с логами на постель. У нас не перины, а только одеяла.

— И слава богу, — заметил я и стал рассказывать, как я мучаюсь под периной у лесника.

С ходу я выдумал страшный сон, который будто бы мне под нею приснился. Как ожили все дюмберские камни и кинулись меня преследовать. Они тарасили свои страшные глазища, бежали за мной на тоненьких, как нитки, ножках. Естественно, я споткнулся, и камни меня, естественно, завалили; а когда я весь в поту проснулся, естественно, это были не камни, а грибиковская перина. Йожо смеялся и, конечно, не верил ни одному моему слову, но был явно доволен. И Яна смеялась, и опять я не видел ее глаз. Тут я понял, что ее глаза можно увидеть, только когда ей страшно или когда она смотрит на Вока.

Из кухни мы притащили приемник, и Яна показала нам новый танец. Его танцуют не парами, а встают друг за другом длинной шеренгой. Совсем не трудно. Прыгай и дрыгай ногами в стороны. Мы сразу научились. Я сначала не хотел, хотела одна Габуля, но когда Йожка встал, за ним поднялся и я. Все держат друг друга за талию. Передо мной встала Габа, и я мог держать ее только за плечи; за меня ухватилась Яна, а за нее, конечно, Йожо. Вообще-то я не любитель танцев, но этот танец мне понравился.

Отец поднялся наверх посмотреть, почему мы так топаем. Но, увидев чем мы занимаемся, он не раскричался, как обычно, а встал перед Габой и несколько раз тоже подпрыгнул, словно медведь. Это было такое зрелище, что мы от смеха чуть не упали.

Уходя, отец заметил жавшегося под елкой Боя. Я замер: Бою давно пора сидеть на цепи. Но у отца было хорошее настроение, он только покачал головой, сказал «ну, ну!» и ушел.



Наверное, в честь Яны отец освободил Боя из-под ареста.

По радио объявили аргентинское танго «Удар кинжалом». Название нам очень понравилось, и мы едва дождались, когда это танго начнется. Зазвучал рубленый ритм аккордеона и гитары. Словно и вправду какой-то аргентинец, крадучись, наносил во тьме удары кинжалом. Я вскочил и принялся выделывать кренделя; двигая в такт плечами и спиной, я уклонялся от кинжала этого аргентинца. Все смотрели на меня, а когда танго кончилось, мы еще долго смеялись.

Потом Вок выдал твист. Других танцев он не знает, но твист исполняет здорово. Он сгибался до самого пола, потом извивался на своих длиннющих ногах, а когда поворачивался, дрыгал ногой, как дикий зверь.

Габка захотела показать фокусы с Боем. Мы приглушили радио, чтобы Бой так не мучился. Он не выл только из вежливости, ведь от музыки он страдает невыносимо. Окончив свои фокусы, Габуля улеглась на Боя, подпирая голову рукой. Это было самое смешное. Она, оказывается, видела в одном журнале на картинке укротительницу тигров.

Мы похлопали ей — она это обожает. Но Габка так разошлась, что собралась в сарай за Крампулькой. Вок подморгнул мне: дескать, не забывай своих обязанностей, и я начал Габку отговаривать. Давалось мне это с трудом. Она отказалась от Крамбули, только когда я ей шепнул, чтобы она угостила Яну чем-нибудь с елки. Тогда она полезла под елку и разыскала где-то последнюю шоколадку.

— Возьмите, пожалуйста, — подала она ее Яне, успев по дороге снять с шоколадки серебряную бумажку.

— Спасибо, Габуля, — поклонилась ей Яна. Отломила кусочек, а остальное предложила Габе.

Габу не надо было упрашивать. Теперь она уже разлюбила соль, эта сестричка-лисичка. Сколько было бы крику, если б я повесил ей на елку одни только маленькие солонки!

У Яны сестры нет, только два одиннадцатилетних брата. Но это, скажу я вам, вещь — ведь они близнецы. Сидят за одной партой, а если Павел не знает урока, вместо него отвечает Петр. А когда Петр не знает, вместо него поднимается Павел. Учителя ничего не замечают, потому что ребят не различишь, так они друг на друга похожи.

— Вот бы мне такого брата, — сказал я мечтательно, — особенно для школы.

— А мне бы такую сестру, — засмеялась Яна. — Особенно для математики. — Она посмотрела на Вока и усмехнулась.

Да, иметь близнеца каждому не мешает, хотя бы до тех пор, пока не кончишь школу. Какой мне, например, толк от Вока? Никакого. Четвертый год он живет не дома, а в Штявнице. А если бы и жил, все равно ведь он за меня отвечать урок не может. И я должен страдать один.

Пришла Юля звать нас ужинать. Я видел, как она рассматривает Янину прическу.

Ну, давай начинай, сказал я себе. У Юли каждая девчонка фифа, если у нее волосы не прилизаны.

— Она тебе нравится? — спросила меня Юля, когда мы спускались вниз по лестнице.

— Мне? Очень! А тебе?

— Главное, что она нравится Йожке, — дернула Юля плечом.

Значит, Яна ей не очень-то по душе. Юля сейчас в плохом настроении: ее летчик на праздники не приехал. А когда она злится, ей не нравится никто и ничто.

— Факт, девчонка что надо! — Мне хотелось раздражить Юлю окончательно.

— Еще бы! — не клюнула она.

Напрасны мои старания. Пока ее летчик не объявится, все будет из рук вон плохо.

— Наверняка заявится к празднику, — сказал я Юле возле кухни.

— Думаешь? — Она просияла, догнала Яну и принялась расхваливать ее белый свитер.

Мне он как раз не особенно нравится. Совсем не спортивный, а какой-то мадамский.

Хоть бы поскорее Юлин летчик приехал. Если он не приедет, Яна так и останется вертушкой и фифой. Только я этого дела так не оставлю. На этот раз я выскажусь. Не промолчу, как в тот раз, когда она ругала Ливу.

За столом мама напомнила Яне дать родителям телеграмму, что добралась благополучно. Яне, конечно, не хотелось. Йожо поднялся за бумагой, но отец, известный джентльмен, подошел к телефону, набрал номер почты и спросил у Яны только адрес.

— «Ваша дочь Янинка благополучно приехала. Точка. Сердечный привет и счастливого Нового года желают Трангоши», — диктовал отец дяде Врбику.

Яна все время хихикала. Но Вок был тронут. Какой у него, оказывается, замечательный отец! Не экономит на словах и заполняет телеграмму ненужными приветами. Уж если делать, так делать!

А наш замечательный отец был в восторге от самого себя и уже не мог прекратить добрые дела.

— Послушайте, дети, естественно, вы, старшие, — сказал он после ужина, — ступайте посидите в столовой с молодежью.

Я чуть не свалился со стула. В столовую, после ужина! После ужина мы туда даже нос сунуть не смеем! Нам можно заходить туда только днем, чтобы помогать, когда много народу. Да и то не всегда. Когда много народу, я обычно вытираю посуду, а Вок бегаёт в погреб. А присесть за стол — такое нам бы и в голову не пришло!

Я вскочил со стула: а вдруг отец раздумает! В столовой была куча знакомых ребят из Подбрезова, среди них и Юло Мравец. Я с ним еще и поговорить толком не успел. Я вскочил со стула слишком быстро, и в этом была моя ошибка. Габа заревела, она тоже рвалась пойти. Она просто не выносит, когда меня считают старшим. Все думает, что я ей ровня.

— Не спорь с ней, — шепнул мне отец, — потом незаметно исчезнешь. Ясно?

Это был уже третий по счету добрый поступок отца. А если считать Боя, то четвертый. А ведь еще не праздник.

Я с равнодушным видом уселся обратно, чтобы провести Габу. А Йожка с Яной ушли. Через окошко я видел, как подбрезовцы освобождают им место на скамейке у стены. Они, сгрудившись, сидели за одним столиком возле елки, чтобы не занимать места, предназначенные для городских лыжников, и не портить отцу коммерцию. Городские должны сидеть на хороших местах, чтобы тратить побольше денег. А у Юло Мравца и его друзей денег не густо. Им главное — побегать на лыжах, и у нас они заказывают только чай или

малиновую воду. Отец, конечно, любит туристов с деньгами, но и безденежную молодежь всегда охотно приютит и оставит ночевать хотя бы и на соломенных тюфяках. Вот и теперь он усадил их за елкой. Велел Юло принести с веранды скамейку, потому что на четырех стульях всем им не усестся. Так за елкой образовался самый приятный и веселый уголок во всей столовой.

Яна сидела, крепко прижавшись к Йожо, а с другой стороны уселся Юло Мравец. Он то и дело вскакивал, чтобы принести какую-нибудь ерунду. Сначала Яна была не в своей тарелке и испуганно поглядывала на Вока, но вскоре начала громко смеяться вместе со всеми остальными. Громко, но сдержанно. А это не просто, когда Юло Мравец начинает откалывать свои штучки.

Прошло добрых полчаса, пока Габа перестала следить за мной, и я незаметно испарился.

Мне досталось место на самом кончике скамьи. Сейчас молодежный уголок притих: обсуждали завтрашний поход.

— Пожарники утверждают, — говорил Юло Мравец, — что на северных склонах снег лучше (пожарниками Юло Мравец называет работников горной службы). — А здесь, говорят, опасно.

— Воображают из себя, — сказал Лайо (фамилии не знаю), — нагоняют на людей страх, чтобы драть нос повыше. Лавины и заносы, страшные метели и туман — это по их части.

— И снег, говорят, тяжелый. Его называют «свернисебешью».

Все засмеялись.

— А он и правда тяжелый, как кирпич!

Ребята повернулись к Анче, сестре Юло, и, перебивая друг друга, начали рассказывать, как у нее после обеда под самым Дюмбером, когда она делала «елочку», слетела лыжа. Юло нашел эту лыжу в лесу — она торчала в снегу.

Лыжа глядела в небо, и ветер наигрывал на ней серенады горе-лыжникам.

Это, конечно, шуточки. Метель ночью утихла, и сегодня на дворе было тихо, как в комнате.

Яна слушала, а когда речь зашла об Анчиных «елочках», вся как-то сжалась и, усмехнувшись, взглянула на Вока. Вок похлопал ее по спине, и я не понял, умеет Яна делать «елочки» или нет, но бояться ей все равно нечего, Вок наверняка все устроит. Это, конечно, была жестокая ошибка. Вок, конечно, может устроить все, но «елочки» вместо Яны делать не может. Что нет, то нет.

Среди подбресовцев были две девчонки, и, судя по разговору, тоже не олимпийские чемпионки. Никто не рождается завзятым лыжником, а столько мастеров уж как-нибудь справятся с тремя необученными. Анчу Мравец я не считаю. А может, и Яна не новичок, ведь я о ней ничего не знаю!

— Подъем в восемь, Йожо, — начал организационную работу Юло Мравец. — Я знаю одно местечко — два часа ходу!

— Что же ты имеешь в виду? — хотел уточнить Вок.

— Сюрприз. Это на северном склоне.

— А почему на северном? И ты сдался пожарникам? — спросил Лайо.

Почему он так не любит горную службу?

— Просто вы не хотите топтать на другую сторону Дюмбера, — ворчала Анча.

— Кто говорит — на другую? У нашей долины тоже есть северный склон. Если хотите знать, это у Козьего хребта. И мы там будем одни. Обкатаем его и будем ездить дотемна.

— И загорать, — сказала Яна.

— На костре, — смеялись парни.

— Что в этом году за зима? Счастье еще, что столько снега выпало. Не дай бог, если подморозит.

— Если б не календарь, можно подумать, что сейчас март.

— Пожарники наверняка в него не смотрят, — не унимался Лайо. — Воображают, что весна, и пугают своими лавинами.

— Ой, а мне хочется поглядеть на лавину! — пискнула какая-то девчонка.

— А мне — нет, — сказал Юло Мравец. Сразу видно, что он настоящий лыжник, а не любопытный дурак.

— Ладно, подъем, — сказал Вок Яне. — Надо смазать лыжи. Я дам тебе тюленьи ремни, чтобы было легче идти. Хорошо?

Яна улыбалась счастливой улыбкой. И я был рад, что ей у нас нравится. Очень, очень рад.

— Эхе-хе, охо-хо! Пошли, а уж завтра вечером погуляем вовсю, — вскочил неожиданно Юло Мравец. — А я попляшу с ружомберокской городничихой!

Мы чуть не лопнули от смеха. Больше всех смеялась Яна, ружомберокская городничиха!

— А в полночь я пробегусь на лыжах в одних, пардон, подштанниках, — повернулся Юло к Яне, — чтобы не мять брюки.

И мы начали придумывать маскарадные костюмы к новогоднему походу. Каждый новый год в двенадцать часов, с последним ударом, мы встаем за домом на лыжи и спускаемся вниз с горы, одетые кто во что горазд. Отец зажигает на углу лампу в пятьсот свечей, туристы глазуют на нас из окна, а мы свистим, играем на разных инструментах, и каждый стремится закончить спуск смешным коленцем. Лучше всех это удастся Юло Мравцу. Он съезжает на одной лыже, согнувшись в три погибели, и валится в снег, как девчонка-неумеха. Остается только удивляться, как он мог так переплести ноги. Домой мы возвращаемся все мокрые и еле живые от смеха.

— А теперь, ребята, спать, — подошел к нам отец.

— Еще ра-а-а-но, — ныли мы, но все напрасно.

— Очистить позиции, — скомандовал он, — и на боковую!

— Есть! — вскочил Юло Мравец.

Я видел, что все остальные нам завидуют, как дружно мы маршируем из столовой, нам весело и никому это веселье не стоило ни кроны.

Как я жду завтрашнего дня! Яна поднялась наверх, а Вок остался внизу. Остальные

устроились в общежитии. Я поджидал Вока, а он все стоял и смотрел вверх. Я немедленно пошел прочь. А Вок все стоял, не двигаясь с места.

— Ну, Янка, иди, — сказал он тихо. — Доброй ночи! Пусть тебе приснятся хорошие сны.

— Доброй ночи, Йожка... Как тут у вас чудесно! — вздохнула Яна.

Лестница закрипела, и Вок двинулся вслед за мной.

— Ты мировой парень, — толкнул меня Йожка.

Ага, мировой, мне одно только не ясно: Йожка еще мой брат или стал полной собственностью Яны?

Смешно, а не разберешься! \* \* \*

Я насыпал соль в солонку и резал перец, когда кто-то вдруг принялся колотить палкой в кухонное окно.

— Ты что, обалдела?! — крикнул я, уверенный, что это Габа: она отправилась с мамой к пороссятам. Или Юля: она тоже была на дворе.

Но за окном стоял незнакомый лыжник.

— Где отец? — закричал он. — Говори скорей!

Где отец, я не знал. Он не пустил меня утром на Козий хребет, и мне нет до него дела! Все на лыжах ходят, а я чтоб все каникулы вкалывал, да еще и на Новый год!

— Слышишь, парень? — повторил лыжник. — Позови отца!

Только тут я заметил, что глаза у него страшные и лыжи он не снимает. Я выбежал и столкнулся с отцом на лестнице: он поднимался на чердак за сардельками.

— Скорей, тебя зовут! — крикнул я, потому что уже боялся этого человека под окном и того, что он собирался сказать отцу.

Мы с отцом выскочили на крыльцо.

— Хозяин... — сказал лыжник и пристально поглядел отцу в глаза. — Хозяин, лавина!

Отец словно онемел.

— И люди под ней! — крикнул лыжник.

У отца бессильно повисли руки.

— Кто? — спросил он чуть слышно глухим голосом.

— Не знаю. Кажется, ваши гости.

— А мой сын? — спросил отец с трудом, набравшись мужества.

Зачем он спрашивает? Зачем? Ведь он ясно слышал, что гости. Йожко не гость, он сын! И Яна тоже не гость, она наша. Значит, ни Йожко, ни Яна не могут быть под лавиной! Зачем он спрашивает?

— Ничего не знаю, хозяин! — Лыжник глядел на старые отцовские башмаки. — Знаю только, что лавина и что нужно помогать. Людей засыпало!

Я кинулся за отцовскими ботинками.

— Собирайтесь! Все, сколько есть! Где лопаты? — кричал лыжник.

Я вытащил из сарая четыре лопаты. Больше у нас нет. Лыжник попросил ремень, связал лопаты и перебросил через плечо. У отца дрожали руки, когда он шнуровал ботинки.

— Да, позвоните по телефону, — вспомнил лыжник, посмотрел на отца и сбросил лопаты и лыжи. — Где у вас телефон?

— В комнате за кухней.

— Скажи всем в столовой, — сказал мне отец нарочито спокойным голосом. — А маме ступай и скажи, что мы скоро вернемся.

В столовой сидели четверо лыжников. Они вскочили, взяли лыжи и отправились вместе с нами.

Мы шли быстрым шагом, впереди отец. Он был самый старший из нас, тяжело дышал, пот заливал его лицо, но он его не вытирал, а все шел, шел и шел, как заведенная машина. Больше он ни о чем не спрашивал. Из карманов у него торчали бутылки коньяка, за которыми мне пришлось вернуться.

Лыжники иногда спрашивали незнакомого человека:

— Когда она обрушилась?

Или:

— Может, никого и не засыпало? Сколько раз уже лавина сползала — и ничего...

— Да минут сорок пять назад, — сказал лыжник. А на второй вопрос ответил: — Дай бог, чтоб так. Да только я своими глазами все видел...

Показался южный склон Дюмбера. Гладкий, нетронутый. Следов лыж из такой дали не видно, а ведь лавина — она оставляет страшные следы разрушения! Я уже два раза видел их на этом склоне.

— Ничего не видно, — сказал отец с надеждой, разглядывая склон.

— Может быть, вы ошиблись, — заметил один из четырех лыжников.

Незнакомец промолчал.

А меня снова охватил страх. Ноги и руки стали ватными. Я предчувствовал, что скажет сейчас этот человек, и мне захотелось вернуться домой, убежать, оказаться далеко и не слышать этих страшных слов.

— Это под Козьим хребтом, хозяин. Сейчас увидите.

Тут отец остановился. Схватился рукой за грудь, и когда я подбежал к нему, то увидел, как отливает кровь от его мокрого лица. Он оперся рукой о мое плечо.

«Это неправда! — кричал я про себя. — Неправда! Этого не может быть!» Но я уже знал, что это так, что такое может быть. Я плакал без слез и молил, чтобы это оказалось неправдой, чтобы ничего не случилось хотя бы с нашими, с нашим Йожкой, с нашей Яной. И ни с кем другим! Но главное, с нашими. «Ни с кем! — просил я, испуганный тем, что желаю несчастья другим. — Пусть ничего не случится. Ни с кем, ни с кем другим, ни с нашими...»

Отца оставили силы, и я побежал впереди. Дорога свернула направо.

Мне опять захотелось повернуться и убежать. Но, поглядев на отца, я рванул вперед с новой силой.

Передо мной открылась страшная картина.

Во всю ширину Козьего хребта темнел след лавины. Под скалистым хребтом почти на треть склона виднелся нетронутый снег. Но дальше!.. Словно кто-то гигантским ножом равномерно разрезал снежный покров и приказал: начать отсюда! Снежный покров сначала двигался медленно по всей ширине склона, но, достигнув долины, пополз по ее краям и сдвинулся к центру. Лавина сузилась и вспучилась. Потом натолкнулась на заслон из низкорослых сосен, стала тяжелой и стремительной и понеслась с бешеной скоростью, круша на ходу деревья, вырывая валуны и увлекая за собой все, словно взбесившаяся река. Уже ничто не могло остановить ее, только Дюмбер. Она покрыла всю долину под Козьим хребтом и забралась на противоположный склон. Страшным заслоном из снега, камня и деревьев она перегородила и центральную долину.

— Этот грохот, — схватился за голову незнакомый лыжник, — этот свирепый гул, я не могу его забыть! А потом вдруг наступила тишина... Хозяин... — хотел он что-то сказать отцу. — Хозяин...

Но отец шел не останавливаясь и не слушая его. И я, и все остальные — мы шли не останавливаясь.

На лавине работали люди. Я бежал и отчаянно высматривал Йожку и никак не мог его отыскать. Я уже видел Лайо и Анчу Мравцову, Ливу и всех Смржовых, только Йожо, нашего Йожо, не было нигде!

На боку, чуть в стороне от лавины, распростершись прямо на снегу, лежал рослый парень. Появились работники горной службы и стали укладывать его в сани. Я узнал свитер. Юло Мравец! Когда его везли мимо нас, он отвернулся и прикрыл локтем исцарапанное лицо. Грудь, перехваченная ремнями, тяжело вздымалась.

— Юло! — крикнул отец. — Юло, а мой?..

Идущий сзади спасатель притормозил, постромки, на которых держались сани, натянулись, но лыжник впереди продолжал идти, и Юло, закрывая лицо руками, проехал мимо.

Я уже нашел почти всех наших, но Вока все не было. Наши туристы и несколько незнакомых мне людей перекапывали лавину лопатами и мотыгами, а кто и просто голыми руками рыл в снегу тоннели.

Кто там под лавиной? Кто?

Отец кинулся к первому попавшемуся.

— Люди добрые, — схватил его отец за рукав, — скажите, люди, где мой сын?

— Не стойте, ребята, — кричал тот, тяжело дыша, — человек под снегом!

— Но мой сын... — повторял отец, с отчаянием глядя на лавину.

Незнакомый человек распрямылся и как будто только сейчас заметил отца.

— Сын? — переспросил он. — Да нет, говорят, девушку засыпало.

И тут я увидел Вока в глубоком, самом глубоком, тоннеле. Он, стоя на коленях, пробивался к центру лавины, выбрасывая снег голыми руками.

— Йожо! — крикнул я и кинулся к отцу: — Отец! Йожо!

Он не видел нас, только когда я крикнул еще раз, Вок поднял мокрую голову, посмотрел невидящим взглядом и хрипло повторил:

— Здесь! Это было здесь! Я видел! Я видел! Копайте быстрее, быстрее! Она здесь!..

Он рыл снег разбитыми руками, а тоннель, осыпаясь с обеих сторон, становился все уже. Нужна была лопата и здоровый, не усталый парень.

Вок совсем обессилел.

— Вылезай, — просил я его, — пусти меня. Вылезай, Йожка!

— Не могу, — хрипел он, ни на минуту не переставая копать. — Не могу. Я знаю, где она. Надо спешить...

Один из нашей четверки, взяв лопату, прыгнул к Воку в тоннель.

— Пусти меня, — взял он Йожку за плечо, — с твоими руками тут ничего не сделать. Снег надо выкидывать.

Но Вок не пустил его. Он словно никого не слышал.

— Вылезай, — крикнул на него наш турист и оттолкнул его назад, — не то я стукну тебя!

Ему удалось наконец перелезть через Вока. Он выбросил из тоннеля первую лопату снега и взглянул на Вока, уткнувшегося головой в колени.

— Передохни, — сказал он Воку. — Если она здесь, я доберусь до нее быстрее, чем ты с твоими руками. Когда устану — сменишь меня. Ну, выше голову! Дыши глубже!

Вок послушно поднял голову и медленно встал. Только сейчас он заметил отца.

— Отец... — Подбородок у него задрожал. — Папа... Яночка!.. — Потом ни с того ни с сего он вдруг закричал: — Ищите! Да копайте же! Что вы стоите?

Он бегал и искал, где начать новый тоннель. Отец вырвал у меня лопату и дал ее Воку, чтобы он не начал снова рыть голыми, израненными руками.

— Я верю, сынок, — сказал отец спокойно, хотя голос выдавал его, — я верю, я уверен, что мы найдем ее и все будет в порядке.

Йожка остановился. Он жадно ловил каждое слово отца и понемногу успокаивался.

— Я знаю, — продолжал отец твердо, — чувствую, что мы найдем ее вовремя. Ты только посмотри, сколько нас!

Йожка поднял глаза и оглянулся, словно впервые увидел окружающий мир. Он только сейчас увидел людей, и это его успокоило. Теперь работало уже человек тридцать. Но потом он смерил взглядом лавину, понял, какая она широкая и высокая — не меньше десяти метров, — и, видно, понял, что и вдвое больше народу не сможет перекопать ее. Он вернулся, скинул мои варежки, которые уже натягивал на раненые руки, и начал бешено рыть на новом месте.

Не знает! И он, бедняга, не знает, где может быть Яна. Ведь если б он знал твердо, то



вернулся бы к своему тоннелю, а не копал бы совсем в другом месте с тем же немым отчаянием.

Сейчас мы работали все — кто лопатой, кто руками. Наконец, после многих попыток, кому-то из спасательной службы удалось организовать работу. Никто больше не бегал, каждый работал на своем месте, а в центре, где лавина была плотнее и выше, четверо человек втыкали в снег длинные железные шесты. У каждого был свой определенный участок, и поиск шел организованно. Шест втыкали, поворачивали, вытягивали и смотрели, не захватил ли крючок куска материи от куртки или брюк. Двенадцатиметровые черные пики грозно взлетали против затянутого тучами неба, и я уже перестал верить, что мы найдем Яну. Шел второй час поисков, а от нее не было и следа. Ни палки, ни шарфа, ни рукавицы. Мне даже стало казаться, что ее вообще здесь никогда не было. Она, наверное, от нас где-нибудь прячется! Но где-то совсем в другом месте, а не здесь, под этой огромной лавиной, такой огромной, что люди кажутся крохотными, разбежавшимися по снегу муравьями. Нет, Яна не может быть здесь, под снегом! Яна, озорная ящерка, что же ты не вильнула хвостиком и не скрылась от этого ужаса на скале, в густых зарослях! Она наверняка там, в кустарнике, она просто растянула ногу и не может спуститься к нам и сказать: «Что вы тут делаете? Что вытворяете?»

— Не стой! — крикнул мне Вок. — Не то я тебя!..

Я бросился на колени и погрузил руки в снег: я боялся Вока. Он был страшен: лицо осунулось — кожа да кости, глаза иступленно горели.

Нет ее здесь! А если и есть, уже поздно. Я знаю, человек может выдержать под снегом несколько часов, потому что снег рыхлый и пропускает немного воздуха, но я в это не верю. Я видел лыжника, которого откопали через два часа. Сердце у него еще билось, но даже врачу не удалось его воскресить.

К отцу подошел спасатель.

— Нужно пойти позвонить еще раз, — сказал он, с беспокойством оглядывая Дюмбер. — Пора уже им быть здесь с этим прибором.

— Только не я, — покачал головой отец. — Я... останусь тут с детьми. Пошлите кого-нибудь другого. Помоложе.

Начальник спасателей подозвал Лайо.

— Нет-нет, — сказал отец. — Взрослого. Моя жена будет не в силах...

Вызвался опять тот лыжник, что уже был у нас. Он встал на лыжи и тут же исчез вдали.

— А ты... — отец посмотрел на меня, — пошел бы ты к маме.

Но я не мог бросить Йожку. Отец только вздохнул. Видно, уже и он не верил.

Может, если бы пришли с прибором... Я его не видел, но знаю, что когда с ним ходят, он показывает, где искать человека. Наверное, в нем действует магнит. Ведь у каждого лыжника металлические крепления на лыжах. А может, в этом приборе действует радар?.. Какая разница, лишь бы он уже был здесь! Лишь бы показал, где искать Яну, живую Яну, с большими голубыми глазами, широко раскрытыми, когда ей страшно или когда она смотрит на Вока. Сейчас ей наверняка страшно, она боится и мучается, найдем ли мы ее вовремя, а мы роём, но может быть, не там. Яна нас слышит и боится, что мы никак ее не найдем.

Время летело с чудовищной быстротой, и я заметил, что люди вокруг работают уже не так споро. Они останавливаются, разговаривают, задумчиво качают головами. Заметил это и

начальник.

— Копайте, копайте! — кричал он, бегая и подгоняя всех.

— Приказывать легко, — проворчал кто-то. — Только кто приказывает, должен позаботиться и о провианте: скоро обедать! — И он противно засмеялся, ожидая, что его поддержат остальные.

Начальник подошел к нему и вырвал из рук лопату.

— Вы можете идти! — закричал он, весь красный от злости.

— Ну и пойду, — сказал парень и пошел. — Все равно все уже напрасно! Не будьте дураками, ребята, прошло два часа!

Он взял лыжи и двинулся по направлению к Партизанской хате. Девушка, которая стояла рядом с ним, услышав эти слова, испуганно зарыдала. Остальные снова с каким-то отчаянием начали пробиваться к центру лавины.

Почему к центру? А может, Яна где-то с краю? Конечно, может, она и в центре. Почему же все устремились к центру? Может, она в боковом проходе. Может... Может, может! Может, в центре, может, на краю, может, внизу, а может, и выше. Все только может, но ничего наверняка. Наверняка лишь одно — Яны нет. И нет радара, который мог бы ее найти.

Я больше не думал, что она сидит где-то в кустарнике, с вывихнутой ногой. Я уже думал о другом — о самом страшном.

Кого я совершенно не мог понять, так это Ливу. Не потому, что она не подошла к нам. Я не мог понять, почему она тоже вдруг перестала рыть, прикрепила лыжи и начала спускаться с дюмберского склона. Как раз напротив нас. Она спускалась правильной «елочкой», наискосок подымалась вверх, снова съезжала и каждый раз кончала спуск резким поворотом как раз там, где лавина упиралась в нетронутый дюмберский склон.

«Лива! — хотелось мне крикнуть. — Лива, что ты делаешь?!»

Но она меня не замечала. Она шла не останавливаясь. Без передышки взбиралась и спускалась, каждый раз прокладывая новую лыжню на метр дальше, пока не разрисовала правильной «елочкой» почти весь склон. Словно ничего на свете не было важнее этой правильной «елочки».

«Остановись, Лива!»

Лива не остановилась. Она продолжала взбираться и съезжать, как заведенная механическая игрушка. Что с ней случилось?

Я уже не решался смотреть на склон. Вдруг она закончит спуск, достанет губную гармошку из кармана, сначала просто попробует, а потом заиграет на всю долину, на всю лавину: «Когда мне пойдет семнадцатый год...», и мне придется подойти к ней и ударить ее изо всех сил, чтобы она перестала.

Я глядел только на снег перед собой. Какой он страшный! Серый, тяжелый и мокрый. Не белый, а совсем серый под этим тоскливым небом.

И скалы, серые летом, сейчас были совершенно черными. И ветки карликовой сосны черные, только желтый излом их пахнет смолой, словно ничего не произошло.

«Начинай же, Лива! Почему ты не играешь? До каких пор мне ждать?!»

Нервы у отца сдали. Он стоит над Воком, согнувшись в снежном тоннеле, и плачет. Слезы не текут, но я знаю, что отец плачет.

А Йожка не плачет, Йожка выбрасывает снег, копает, как заведенный, и хуеет на глазах, словно тает, расплывается передо мной в дрожащем сыром тумане.

Хватит! Я больше не выдержу! Не могу! Должно же наконец что-нибудь произойти!

— Идут!.. — закричало сразу несколько голосов, к ним присоединились остальные: — Идут!..

Я поднял голову и увидел четырех парней с рюкзаками, с бешеной скоростью пересекающих дюмберский склон и все Ливины «елочки». Всю ее художественную работу!

Начальник приказал всем покинуть лавину, Йожко никак не хотел выходить из своего тоннеля. Но когда понял, что всем надо уйти для исправной работы прибора, сам отошел в сторону.

Я кинулся обратно к тоннелю и притащил его лопату. Все мы в молчании ожидали, когда начальник закричит: «Ко мне, ребята! Сюда!» И мы бросимся к нему и будем искать уже наверняка. Но приказа все не было. Прошло много времени, страшно много — может быть, полчаса (нет, не больше. Больше нельзя! Никак нельзя!), а молчаливая группа людей с прибором все еще медленно и сосредоточенно ходила по лавине. Раза три они останавливались, возвращались, еще раз проходили подозрительное место, но потом продвигались дальше и не звали нас.

Когда мы все были на лавине, я боялся, что Яне еще тяжелее дышать оттого, что мы там ходим. Ведь снег и так тяжелый. А нас все-таки тридцать. Но когда все ушли, мне вдруг стало Яну жалко, ведь она осталась совсем одна, и ей, наверное, очень страшно. Ведь теперь она не слышит больше стука ломов и лопат, не слышит никакого движения. Говорят, что снег пропускает звук. Человек надеется, пока слышит. Но когда ничего не слышит, даже слабого звука, то он может подумать, что все ушли и бросили его одного.

Быстрее, товарищи, быстрее! Мы ждем вас, очень!

Нас много! Нас здесь столько мужчин, неужели мы оставим в беде девушку! Ведь не дадим же мы ей погибнуть! Теперь уже заволновались многие. И хотя все по-прежнему стояли на своих местах, но время от времени, сложив руки рупором, кричали:

— Ну как?

— Ничего?

— Может, прибор не работает?

— Давайте искать без него!

— Все вместе!

— Мы с одного конца, а вы с другого!

Начальник поднял руку, и все стихли. Люди с прибором постояли, потом вернулись, снова двинулись вперед и опять повернули в обратном направлении.

— Восемь человек ко мне! — закричал начальник.

К нему бросилось гораздо больше, но он отобрал лишь восьмерых. И Вока — хотя легко можно было найти парня посильнее и не такого измученного. Поисковая группа быстро наметила точки, от которых нужно было рыть, наметила направление и размер тоннелей. Все

они сходились в виде звезды. Это было там, где боковая долина присоединялась к главной. Не в центре, а значительно правее, метрах в двух от долины.

У нас блеснула надежда: отмеченное место находилось на правом крае лавины, глубина там не такая большая, а значит, тяжесть не так велика.

— Каждые пять минут меняемся! — крикнул начальник. — Начали!

Менялись все, только Йожка копал не останавливаясь. Все смотрели с жалостью, как он работает, пробиваясь к центру даже быстрее, чем остальные.

Примчался лыжник, бегавший к нам звонить. Он нашел отца и, с трудом переводя дыхание, сказал ему:

— Кто-нибудь из вас должен пойти домой... Ведь там... две перепуганные женщины и ребенок...

Отец велел идти мне.

Но я не пойду! Не пойду — и все! Ведь каждую минуту я могу увидеть Яну, ей надо будет помочь, придется куда-нибудь сбегать, понести ее и радоваться вместе с Йожкой.

Не пойду! Почему всегда я? Ничего дома не случится, а я отсюда не уйду, пока не увижу Яну спасенной!

— Ступай, — сказал мне отец с таким грозным видом, что я попятился.

— Еще минутку... — Я показал туда, где копали. — Минутку! Может быть, тогда скажу маме, что...

— Что? Что ты скажешь? — Лицо у отца было измученное, глаза ввалились, морщины стали четкими. — Что ты ей скажешь? — повторял он. — Чем мы можем помочь? Отправляйся домой! Мигом! Ты нужен матери!

Я стал крепить лыжи.

— Ведь ты мужчина, — сказал мне отец на прощание. — Присмотри за ней. Здесь уже все равно ничем не поможешь.

Мне стало страшно от отцовских слов.

— Нас здесь и без тебя хватает, — добавил отец. — Скоро и мы вернемся... Подготовь все, что нужно. Ведь ты мужчина...

Я оттолкнулся и помчался вниз по сырой лыжне.

«Ты мужчина...» Я мужчина? Так почему у меня гудит в ушах от усталости? Почему я бегу не останавливаясь и не хочу идти домой, но и обратно не хочу вернуться? Почему мне кажется, что вся долина гудит, когда я знаю, что вокруг мертвая тишина?

Почему мне стало казаться, что у меня глаза на мокром месте, как только я остался один?

Ведь я мужчина!

Что мне сказать маме?

И главное: что нужно подготовить? Что!

Почему я не знаю, ведь я мужчина!

Я сбросил лыжи и медленно вошел в кухню.

Она была пуста. Лишь будильник нарушал тишину своим тиканьем.

Будильник показывал половину третьего.

Яну не нашли и к вечеру.

К девяти Йожку силой привели домой. И с тех пор он, не двигаясь, стоял в комнате, смотрел в темное окно, не произнося ни звука. На нем была все та же мокрая куртка, только лыжные ботинки он снял еще вечером, когда увидел, что Габуля их расшнуровывает. Отец поставил ему к окну стул, а Юля принесла чай.

— Выпей немного, Йожка, — просила она его. — Хотя бы глоток, Йожо!

В чай по совету Юли налили рому, чтобы Йожка немного отошел.

— Если бы он мог поплакать, — Юля долила в чай рому, — хоть немного поплакать, тогда ему на сердце стало бы легче...

И она снова и снова, стоя рядом со стаканом в руке, уговаривала Йожку. Наконец он повернулся, взглянул на Юлю и одним глотком выпил весь чай. С самого утра у него во рту не было и маковой росинки.

Я пошел за Юлей спросить, что будет с Йожкой, если у него не отойдет от сердца.

— Сердце может окаменеть, — сказала она. — Но он еще молодой, еще мальчик, выплечется, и полегчает.

— Не выплечется, — испугался я, потому что вспомнил, какой он был грустный, когда Яна летом не приехала, но и тогда он не плакал, совсем не плакал, только ушел один в лес.

— Не бойся, — сказала Юля задумчиво, — слезы — это дар, данный из всех живых существ одному человеку. И каждый человек им обладает.

— Слезы — и вдруг дар!

— Да, — кивнула она, — великий дар. Слезы помогают человеку пережить всё и продолжать жить даже после большой беды.

Никогда еще Юля не выражалась так непонятно. Мне хотелось подробнее расспросить ее, но больше она ничего не сказала, а я не знал, как продолжать дальше свои расспросы. Но одна вещь не давала мне покоя, когда я смотрел на Юлю.

— И тебе не жалко Яну? — крикнул я.

— Тише, Дюрко... — кивнула она в сторону комнаты. — Яну мне очень жалко. Но еще больше Вока. А больше всего Яниных родителей.

Я представил себе, как завтра приедут родители Яны. Им уже послали телеграмму. Завтра приедут...

— Это самое страшное, — прошептала Юля, и я уже не мог ничего, ничего сказать.

В кухню снова явился тот пьяный турист. Я не знаю, как его зовут, но знаю его в лицо, он часто ходит на Дюмбер.

В столовой было полно народу, встречали Новый год. Не спал, по-моему, никто. Из наших спала только Габа, Юля уложила ее в свою постель. На ужин Юля приготовила солянку с колбасой. Тому, кто остался голодным, она подавала холодные закуски. Отец не разливал, как обычно, в рюмки вино или другие напитки. Просто поставил все бутылки на столик у телевизора, а на телевизор — большой поднос с бокалами, пусть каждый берет, что захочет, и оставляет деньги. Кто может сейчас обмануть нас? А если и так, — отец махнул рукой, — пусть это останется на его совести. Туристы сидели, пили потихоньку, но никто не пел и музыка не играла.

А тот, кто ходил вместе с нами тогда к лавине, то и дело являлся на кухню и в комнату (он был немного подвыпившим), подходил к постели, на которой лежала мама прямо в фартуке, одетая так еще с утра.

— Послушайте, мамаша, — говорил он, опускаясь на колени у постели, — не плачьте. Слышите? («Не плачьте», — говорил он, а у самого по лицу текли слезы.) Не мучайтесь вы так из-за этого письма.

Он уже знал, чего не может себе простить мама. Ведь она сама писала родителям Яны и приглашала ее сюда, она и должна была следить за ней — и вот не уследила. Бедная наша мама думала, что это она всему виной, и если б не ее письмо, Яна осталась бы жива. Когда я вернулся в половине третьего, мама потеряла сознание, и нам с Юлей пришлось приводить ее в чувство уксусными примочками. С тех пор она лежит, уже не в силах даже плакать, и со страхом ждет завтрашнего дня: как она посмотрит в глаза Яниным родителям.

— Такая уж ее судьба, мамаша. А вы только перст судьбы, — говорил гость, держа маму за руку. — Слышите? Вы должны были написать это письмо! А если б не вы, все равно судьба настигла бы ее в другом месте. Никто не может изменить того, что написано в книге судеб! Никто на свете!

Он погладил маму по лицу и попытался встать. Я помог ему подняться на ноги. Он был сильно пьян, но я видел, что его слова помогают маме, да и всем нам. Может быть, и правда все так и есть, как он говорит.

Не может же наша мама быть причиной Яниной смерти! И Вок тоже! Он ведь любит Яну. Разве преступление, что он хотел показать ей, где живет, показать горы, среди которых он вырос, и где хотел жить вместе с Яной, когда станет лесничим. Я знаю Йожку — и знаю: все, что он делает, он делает по-настоящему. Яну он по-настоящему очень любил.

Наконец турист встал, поднял руку и торжественно обратился к нам:

— Природа всемогуща. Она дарует жизнь, она ее и берет. Покоритесь ей! У нее есть на то право. Никто другой не имеет права взять жизнь, но природа — имеет!.. А вообще вам всем нужно немного поспать. Хотя бы вам, ребята.

Я с испугом взглянул на него. Спать? Йожке?

— Ведь я знаю... — покачал он тяжелой головой. — Знаю... Все знаю...

И, держась за дверь, он вышел в кухню.

В комнате снова воцарилась тишина. И опять я стал думать о Яне. Я уже ничего не мог поделать, не мог совладать с собой: все мои мысли возвращались туда, к холодной ночи под лавиной.

Мысль о Яне не покидала меня, когда я подкладывал в печку поленья, чтобы поддержать тепло до утра. Думал я о ней и когда Юля наливала мне чай. Думал, когда с ужасом

представил себе, что вот мы-то ложимся спать под теплые одеяла...

Я попробовал думать о Юло Мравце. Спасатели отвезли его на своих санях в деревню, а оттуда санитарная машина — в больницу. Юло искалечен, но все-таки жив! Юля рассказывала мне, что, когда его везли мимо нас, мама выбежала, а он начал кричать, что ни в чем не виноват. От волнения у него на губах выступила кровь. Юля хотела влить ему в рот рому, чтобы успокоить боль, но он сжал зубы и отвернулся. Я знаю, Юло не терпит алкоголя. Вспотевшие спасатели выпили рому и быстро и осторожно повезли его дальше.

Кто знает, что теперь с ним, беднягой! Наверное, его, как нашу маму, мучает не только боль, но и совесть, потому что это он предложил идти на Козий хребет. Но кто мог знать? Кто мог предположить, что их там ждет?! Ведь никто — ни наш отец, ни Смирзовы не помнят, чтобы хоть раз лавина обрушилась с Козьего хребта. С дюмберского склона лавины сползали часто, с Гапля тоже. В прошлом году одна такая огромная лавина крушила на своем пути лес, еще и сейчас видно, как она шла. Но на Козьем хребте лавин никогда не было.

И все-таки лучше бы ребята отправились в другое место. Лучше бы Юло не вспомнил про этот Козий хребет.

И как он вообще пришел ему в голову? Ведь Козий хребет — совсем невысокий боковой гребень, не то что Гапля или Баран. Он и круче, и голый какой-то, открытый всем ветрам; удивительно даже, как на нем удерживается такой толстый слой снега.

Кое-кто из подбреевцев ушел еще вечером, потому что Анча плакала и рвалась к брату. Она упрекала себя, что не ушла сразу, но тогда все мы верили, что, если нас будет больше, мы скорее спасем Яну. Сам Юло велел ей остаться. Анча послушалась и ушла только вечером с двумя девушками и парнем.

Остальные остались и грустно сидели на соломенных тюфяках в спальне. Их угол в столовой за елкой пустовал. Как они могли сесть за праздничный стол, если нет среди них Юлы и нет больше в живых Яны?!

Мне вдруг вспомнилось, как мы танцевали в нашей комнате, и я вскочил со стула. Я больше не мог выдержать, не мог оставаться с Йожкой, с мамой и даже с отцом, который сидел не говоря ни слова вот уже несколько часов. Хоть бы этот подвыпивший турист пришел!

Я снова сел. Но потом опять встал, подбросил в печку полено и пошел в комнату к ребятам.

Они сидели, прислонясь к стене, и вспоминали, как все произошло.

С прошлого года, с тех пор как в тумане потерялся их товарищ (потом он нашелся), они ходили в горы так: кто-нибудь один, обычно это был Юло Мравец, брал на себя командование, и все его слушались. Юло решал, кто куда пойдет, в каком порядке они будут двигаться, чтобы более слабые не отставали. Он выбирал трассу, каждому по его силам, назначал место встречи и слабых прикреплял к лыжникам посильнее. Если Юло почему-либо не шел командиром, выбирали кого-нибудь другого, только не Лайо.

По дороге на Козий хребет стало ясно, что Яне нужен тренер. Йожко попросил Юло, чтобы тот сам взялся ее обучать и сделал это сразу на подъеме, не теряя времени. Он знал, что Юло Мравец лыжник очень опытный.

— «Только потихоньку, Юло, не гоняй ее», — сказал Йожка, — вспоминали ребята. — «Это уж предоставь мне», — засмеялся Юло и сразу взялся за тренировку. Причем достаточно жестко. Он учил ее, как беречь дыхание и брать подъем. Йожка стал вмешиваться. Тогда Юло назначил его старшим и отослал вперед, к остальным. А нам было смешно, — вспоминали ребята, — и по дороге для смеха мы учинили Йожке настоящий экзамен. Правил он толком не

знал, но отбивался от нас довольно ловко.

— На подковырки тоже находил ответ, — вспоминал Лайо. — Когда мы хором спросили его, с какой ноги начинать, с правой или с левой, он скомандовал: «С задней!» Анча Мравцева еще спросила, можно ли идти в шапках, а он сказал: «Нет! Приказываю надеть боевые каски!»

— Так мы незаметно поднялись, преодолев две трети Козьего хребта, и решили, что хватит. Но тут...

Дальше рассказывать никому не хотелось. Никто не мог вспомнить, в чьей голове родилась идея пересечь склон поперек, а потом развернуться строем и всем вместе, одной шеренгой, спуститься вниз.

Первая четверка прошла хорошо, все по одной лыжне. Потом они сошли с лыжни, развернулись и стали готовиться к спуску. Тогда-то внизу в долине и появились Юло Мравец с Яной. Он увидел наверху шеренгу лыжников, забежал и начал что-то кричать.

Лайо утверждает, что он кричал: «Вниз!», и лицо у него было злое и испуганное.

Эрнесту послышалось: «Брысь!», и показалось, что Юло смеется.

Не знаю, но я больше верю Лайо, потому что Эрнест шел пятым, он слышал Юло и все-таки двинулся поперек лавины за четверкой. Он не прошел и десяти метров, как почувствовал, что снег под его ногами сдвинулся.

— Я бросился лицом в снег, против движения, прижался всем телом, вцепился в него, уперся коленями... А больше ничего не помню! — закричал он, и его широко открытые глаза побелели.

Вскочив, он порылся в рюкзаке; руки его дрожали. Он достал сигарету и закурил.

— Больше я ничего не знаю, ничего, — продолжил он уже тихо. — Я был пятый... Четверо передо мной... И Юло кричал...

— Перестань, Эрнест. — Лайо поглядел на меня. — Этим ничего не изменишь.

Значит, Юло кричал. А звук в горах может сдвинуть с места лавину. Как-то раз здесь снимали кино, и тогда динамитом сдвинули столько лавин, сколько им было нужно. Но ведь это динамит, а не человеческий голос!

— Если бы вы знали, — продолжал Эрнест, уже как будто говоря сам с собой, — если бы вы знали, что это такое — чувствовать под ногами пустоту, чувствовать, что тебе не удержаться, что снег медленно ползет и...

— Перестань!

Эрнест не мог сдержаться. Сначала на животе, потом прыжками добрался он до края лавины. Лавина снесла заросли низкорослой сосны, а он успел уцепиться. С ним ничего не случилось; только поцарапало и острый обломок ветки разорвал правую ладонь. Пока он рыл снег, он этого не замечал. И ночью рука была перевязана только окровавленным платком.

— Сядь, Эрно, — сказал ему один парень. — Теперь уже все равно!

«Все равно, все равно!.. — Мне хотелось кричать. — Но ведь вы сами освободили лавину! Отрезали своими собственными лыжами, словно гигантским ножом! Вы, вы, вы сами всему виной! Вы же отлично знаете, что так на лыжах нельзя ходить. Пересекать лавину поперек нельзя, даже если лыжник один».



Я больше не мог оставаться с ними. Мне хотелось быть с мамой и отцом и ничего не слышать. Мне хотелось быть рядом с Йожкой. Я встал, чтобы уйти.

Да, а как же Йожка?

— Где был мой брат? — спросил я.

— Там наверху. Вместе с нами.

Я так и сел. Внутри у меня все похолодело, и я не мог двинуться с места.

Эрнест докурил. Теперь он лежал на матрасе, лицом вниз, прикрывая голову раненой рукой. Я видел узелок платка, мокрого от крови. Узелок белого платка с голубой каемочкой — такие есть и у нас — и большую шишку в редких, нечесаных волосах Эрнеста.

Мне хотелось коснуться его рукой и сказать, что сейчас действительно бессмысленны все слова. Мне хотелось сказать, как говорил тот пьяный турист, что судьбы не изменить и что лавина и была Яниной судьбой.

Но я так ничего и не сказал: не смог, не сумел. У меня перед глазами все время стояла их горизонтальная лыжня под Козьим хребтом, отрезавшая лавину. Начало несчастья. И окровавленный узелок и поникшая голова.

Я удержался и ничего не сказал. Ведь если б я сейчас сказал им это, мне пришлось бы сказать то же самое Йожке, он тоже был наверху с ними. Но сказать такое невозможно. Просто невозможно! Этого не вынесет ни он, ни я.

Потом Лайо рассказывал, как спасся Юло Мравец. Он отбежал от Яны, когда кричал им. И лавина задела его только краем, засыпала и, наверное, переломала ребра. По счастливой случайности его нашли через четверть часа они сами, прежде чем лыжники с противоположного склона успели сбегать к Партизанской хате, где находится Спасательная служба. Потом еще искали целых два часа. Прошло много времени, пока детектор что-то обнаружил. И, наконец, нашли... Янины лыжи. Обе.

Тогда все стало ясно.

Теперь уже никто не мог думать, что Яна заблудилась и ранена и находится где-то в другом месте.

Копали снег еще в двух местах. Уже опустилась плотная, черная тьма, обессиленные люди едва различали друг друга. После десяти часов напрасных поисков сотрудник Спасательной службы созвал усталых людей и сказал:

«Работы продолжим завтра с восьми утра. А сейчас попрошу всех пойти отдыхать. Наверх поведу вас я сам, вниз — пан Трангош».

Увидев в руках у некоторых лопаты, он добавил:

«Снаряжение оставим здесь. Соберите его в кучу».

Все стояли поникшие и не спешили уходить, хотя почти никто не ел с самого утра. Тогда руководитель, видимо, вспомнил про того типа, который с криком ушел, и сказал:

«Спасательная служба благодарит вас».

Я подумал о Смирновых и Ливе, как она вычерчивала на снегу «елочки».

Лайо повернул часы к свету и сказал:

— Скоро двенадцать.

Он встал, за ним поднялись и остальные. Только Эрнест не двигался.

— Осталось пять минут, — он смотрел на часы, — четыре...

Я глянул на Эрнеста. Все медленно уселись обратно и уже не отсчитывали минут.

Я вышел в коридор. Собаки спали, их я не мог ни в чем упрекнуть. Они целый день были с нами на лавине, лазили в тоннели, принюхивались, скулили, но против этих тонн снега были так же беспомощны, как и мы все.

В столовой открылись двери. Несколько туристов со стаканами в руках шли в кухню поздравлять нас с Новым годом. За ними, неуверенно пошатываясь, брел тот подвыпивший. Он направлялся прямо к нам в комнату. Прямо к маме. Минуту постоял около нее, хотел поздравить с Новым годом, но потом раздумал и ничего не сказал.

Я быстро подставил ему стул, чтобы он посидел с нами.

— Вот я пью, мамаша, — сказал он, усевшись, — потому что на то есть причина. Никто меня не любит. Все обманули... Понимаете, что значит «все»? Это значит... все. Не только жена. Эх, — он провел рукой по лбу, — я много выпил. Как бы вам объяснить, чтобы вы на меня не сердились... Горы меня всегда успокаивают... Они единственная непоколебимая ценность в этом мире, только они не меняются. — Он поглядел на маму и замолк.

Я видел, что Йожка его слушает.

— Сегодня вам этого еще не понять, — продолжал он. — А горам — это безразлично... Они были, и будут, и останутся всё такими же, когда и нас уже не станет, и наших детей... В этом и есть истина.

Напрасно стараешься, приятель. Моей маме этого не понять. Ни сегодня, ни потом. Она не любит горы и с самого начала живет здесь, в горах, только пересиливая себя.

— Порой они выбирают себе жертву, — пожал гость плечами. — Сегодня их жертвой стала девочка. Лучше бы они выбрали меня, старого хрыча, я уже давно прошу их об этом... Вот так...

Я заглянул в кухню, не здесь ли отец. Через открытое окно я увидел, как он входит в столовую. Шапка на его голове была вся в снегу.

Значит, пошел снег.

Туристы повернулись к отцу. Он постоял минутку, снял с головы шапку и сказал:

— Желаю дорогим гостям счастливого Нового года. \* \* \*

Рано утром, еще затемно, мама поднялась. Умылась, причесалась и надела темное платье.

Мы с Юлей начали убирать. Я выносил сор и увидел на крыльце Йожку — он ждал рассвета.

Подбрезовцы вставали. Один за другим они шли к умывальнику и потом, уже обутые, подходили к Йожке. Эрнест, бледный как полотно, левой рукой с трудом застегивал куртку. Правая висела на шарфе, повязанном вокруг шеи. Носовой платок на его руке был совсем черный, а пальцы распухли и потемнели. Я кинулся за Юлей, чтоб она позвала того доктора, который ночью давал маме порошки.

Отец готовил в кухне завтрак. Мама надевала на толстые чулки черные ботинки на шнуровке.

— Не надо, Тереза, — говорил ей отец, — я сам пойду. Дай мне рубашку и нарежь хлеба. Мне пора.

Если родители Яны успели ночью на поезд, то приедут первым автобусом.

Юля отправила меня в столовую вычистить печку и прибраться. Я обрадовался, что есть чем заняться. Я с большой охотой высыпал окурки из пепельниц и протер их мокрой тряпкой, стряхнул скатерти и обмел снег со ступенек. Вымел бетонную дорожку, ведущую из столовой через всю террасу. Когда рассветет, я расчищу от снега все дорожки.

Страж и Бой еле дождались дня. Они выбежали через столовую прямо на свежий снег. Я глянул на небо. Мерцали яркие звезды, словно не наступало утро, а все еще стояла глубокая ночь.

Я услышал шаги отца. Мне стало очень жалко его, и, отложив метлу, я крикнул с террасы:

— Может, и мне пойти, папа?

Честно говоря, я очень боялся, вдруг он скажет: «Пойдем, сынок, пойдем...»

Но он велел мне остаться.

— И наверх не ходи, — сказал он, повернувшись, — останься с матерью. Помоги ей. Ведь есть-то людям все равно надо.

Мне хотелось подняться в горы, к лавине. Но когда отец запретил, я вдруг понял, что на самом деле я вовсе не хочу туда. Вчера, когда я еще верил, что мы найдем Яну живой, мне страшно было оставлять ее там одну, а сегодня... сегодня мне не хотелось, чтобы туда шел даже Йожка.

Не ходи туда, Вок! Не ходи... Скрипят ступеньки, кто-то спускается вниз, и я слышу, как Яна говорит: «Доброй ночи, Йожка... У вас здесь так чудесно!»

Так чудесно!..

Не ходи наверх, брат! Если бы ты только мог не ходить...

Мы с Юлей подаем завтрак. Ребята берут лыжи и уходят. Йожка идет, окруженный подбресовцами, и с ними вчерашний подвыпивший турист. В жизни я не видел такого хорошего и такого грустного человека.

Юля налила мне теплой воды помыть чашки. Я мою их, вытираю, убираю в буфет. Мама сидит и смотрит. Глаза у нее провалились, руки сложены на коленях.

Пришла Габуля, неумытая, в ночной рубашке, мордочка надутая; она проснулась одна в чужой комнате. Прошлепала по кухне босыми ногами и влезла к маме на руки. Уткнулась ей в платье, мама обняла ее и стала медленно покачивать.

Уже почти совсем рассвело. Деревья, белые от ночного снега, быстрее ловили утренний свет.

Взглянув на часы, я сказал маме:

— Ей пора одеваться.

Габуле одеваться не хотелось; она посмотрела на меня и фыркнула:

— Молчи ты!

Но Юля принесла Габе ее вещи, забрала в комнату и выпустила уже одетой. Я заметил, что на Габочке нет обычных лыжных штанов, а темно-синее платье и белые чулки.

Тогда и я пошел надеть белую рубашку.

И тут из дома я увидел отца с каким-то невысоким человеком в черной шляпе. Впереди шел бледный мальчик в лыжных брюках и длинном пальто. Петер! Или Павел! Янин брат... Янина мама не приехала...

Я побежал и сказал нашим в кухне. Мама встала, вышла по коридору на крыльцо, спустилась по ступенькам и пошла прямо по снегу навстречу Янину отцу. Габа плелась за ней. Я схватил ее за руку и удержал на крыльце. Когда мама остановилась, низенький человек поднял голову, и я увидел его лицо. Но не глаза. Их скрывали золотые очки. Я видел только мамины светлые волосы и землисто-серое лицо в профиль.

— Вас только бог утешит, если он есть, — проговорила она с трудом, — а нас... простите нас... если сможете...

Янин отец стоял и глядел маме в глаза. На скулах его ходили желваки — наверное, он крепко сжал зубы. Он громко дышал, и я увидел, как у него задрожал подбородок. Кивнув головой, он снял шляпу и подал маме руку. Потом отошел от мамы и быстро прошел с мальчиком в коридор вслед за нашим отцом.

Я не хотел пускать Габу в комнату, да и сам не пошел. Но Габа вырвалась и, проскользнув через двери, подошла к Янину брату и спросила:

— Ты Петер или Павел?

Мальчик прижался к отцу.

— Убирайся! — сказал он Габе с такой ненавистью, что я испугался. — Поняла?! — крикнул он, лицо у него скривилось, и он отвернулся.

Я схватил Габу и толкнул ее в кухню к Юле. Потом без шапки выбежал на улицу, взял лыжи и пошел в горы.

Снег слепил меня, прилипал к теплым лыжам, а я все шел и шел, не останавливаясь, с трудом переводя дыхание. Я торопился, я шел не к лавине, а через лес, забираясь все выше и выше, чтобы никого не встретить, остаться наконец одному.

Остановившись, я перевел дыхание и глянул вниз в долину.

С ближнего склона спускалась группа людей, неся на плечах лопаты. За ними на санях... Яну нашли и везли ее... завернутую в розовое одеяло! Розовое одеяло так и сверкало, отражалось на снегу, а на нем лежало что-то зеленое. За санями шли еще какие-то люди с лопатами и без лопат. Процессия двигалась медленно. Никто не спускался вниз на лыжах.

Я кинулся обратно домой, но в комнаты не пошел. Подожду на улице и войду вместе с Йожкой.

Я не дам ему войти одному. Я его не оставлю. Я не допущу...

В сарае зазвенели колокольчики. Это Юля пошла в сарай за факелами и наткнулась на наши сани. Колокольчики звенели, а я, сбросив лыжи, вбежал в сарай и, когда Юля ушла, сорвал с саней все колокольчики. Потом кинулся к леднику и забросил их в самый высокий сугроб: пусть заржавеют и больше никогда не звенят.

Процессия остановилась. Йожка медленно направился в дом. При дневном свете я увидел, что за ночь лицо его еще больше осунулось.

Остальные столпились около Яны. Ее я не видел. Видел только розовое одеяло, лыжи справа и в ногах большой еловый венок.

Йожка встретил Яниного отца в кухне.

Остановился, опустил голову и словно окаменел.

— Я... — начал он, — моя... — Но у него перехватило горло, плечи задрожали, он застонал, послышалось глухое, прерывистое рыдание.

Мы не выдержали этого. Никто из нас не смог выдержать.

Янин отец подошел к Воку. Положил ему руку на плечо, потом обхватил за шею, притянул его голову и заплакал:

— Что мы теперь будем делать, сынок?!

Потом оторвался от Йожки, надел черную шляпу, взял за руку мальчика и вышел на улицу вместе с моими родителями.

Йожка рухнул на стул, опустил голову и весь затрясся от тихих, страшных рыданий.

Я хотел подойти к нему, но Юля остановила меня. Она вышла со мной и Габой в комнату.

— Оставь его, — шепнула она, — он совсем без сил. Поплачет — станет легче...

Я выглянул в окно.

Сани двинулись, и венок задрожал. Яна уезжала. На таких санях тихо исчезала принцесса с далекого Севера.

Все молча стояли у террасы.

Только Янин отец, ее брат и мои родители шли за санями.

С ясного неба посыпался мелкий снег. Он покрыл Яну серебряными звездочками.

Я повернулся и кинулся к себе в комнату. Как давно я в ней не был! Как давно... Неужели все это было только позавчера?! Я оглядел комнату, тихую, убранную елку, на которой качались пустые бумажки, и не мог поверить, что прошло всего два дня, что за два дня может произойти столько страшных событий. Потом я медленно пересек комнату и улегся на свою постель. Я лежал, уставившись в белый потолок, и понемногу начал верить, что все страшное случилось не здесь у нас, а где-то в другом, злом мире... \* \* \*

В начале апреля Юле позвонили и попросили приехать в Бенюш присмотреть за больной сестрой. Утром я не пошел в школу. Отец повез Юлю, и мы с Габкой остались одни.

Я только успел закрыть дом и повесить Габе ключи на пояс, как наши псы стали приняхиваться и брехать. Я еще не успел посмотреть, в чем дело, как Габа вырвалась и, гремя ключами, кинулась вниз по дороге. На дороге из-за поворота постепенно появлялась старомодная лыжная шапка, затем выцветшая куртка, и, наконец, во всей своей красе показался дядя Луковец. Дядю Луковца я очень люблю. Знаю я его давно, но люблю только с сочельника. Ведь в ту ночь он пришел к нам в комнату. И сидел возле нашей мамы. Люблю я его за те слова, которые он тогда говорил, а главное, за то, что с той поры он захаживает к нам почти каждое воскресенье.

Сразу после Нового года наша мама заболела. Пять недель она лечилась в больнице и до сих пор поправляется в Бенюше. Уже и отец стал подумывать о том, что нам придется отсюда уехать. Ведь мы не можем жить без мамы. Только дядя Луковец постоянно твердит: подождите.

Габка кинулась к дяде Луковцу с такими горячими объятиями, что он едва удержался на ногах. А наши собаки чуть не разорвали его от радости. Вся эта группа медленно приближалась к дому. Вид у них очень смешной. Каждую минуту они останавливались, сбившись в запутанный клубок, потом опять расходились и продвигались на несколько шагов вперед.

Я хорошо помню, как тогда ночью дядя Луковец говорил маме, что никто его не любит. Может быть, раньше это и было так, но теперь все изменилось.

— Добрый день, хозяин, — подал мне руку дядя Луковец, и в голосе у него не было насмешки.

Я заметил, что стою на том самом месте у террасы, где отец обычно встречает туристов, и ответил голосом отца:

— Приветствую вас. — И, как отец, прикрикнул на Стража и Боя, чтобы не приставали к гостю.

— Ты чего это, — обиделась за собак Габа, — раскомандовался? Знай, что я остаюсь дома! Я не пойду с тобой ловить рыбу!

Я так на нее разозлился, что, не будь дяди Луковца, честное слово, она бы у меня заработала. Так мне и надо. Ведь знаю ее как облупленную и все-таки не могу сдержаться и все ей выкладываю. Вот и получаю по заслугам.

«Какую рыбу?» — хотел я ей сказать, чтобы навести тень на ясный день, но дядя Луковец сам пришел мне на помощь. Снял шляпу, вытер лоб платком и сказал:

— Надеюсь, ты дашь мне бутылку пива, хозяин, а может, я ошибаюсь?

— Конечно, дам, — поспешил я ответить и кинулся за Габой, чтобы забрать у нее ключи.

— Постой! — закричал мне вслед дядя Луковец. — Напьюсь-ка я лучше воды из ручья. Мне и пива-то не хочется. Не буду задерживаться, заберусь на гребень, а потом посижу у вас. Ладно?

Я оставил Габу в покое и вернулся к нему.

— Вы тут пока делайте свои дела, — продолжал он, — а под вечер я приду. И заночую у вас.

— Хорошо, — согласился я, — я протоплю для вас третий номер.

Он всегда останавливается в третьем номере.

— Зачем, — махнул он рукой, — уже тепло, не надо топить.

Все равно я протоплю. Ночи еще холодные.

Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся в лесу. На вершину он все равно поднимется во что бы то ни стало. Он должен убедиться, что в горах ничего не меняется, что они всё так же стоят на своем месте и будут там стоять вечно... «В этом и есть истина», — сказал он той ночью.

Горы и правда стоят на своем месте — тут дядя прав. Но что в них ничего не меняется, он ошибается. Например, ручей, недавно еще тихий и засыпанный снегом, сейчас шумит и ревет, покрытый пеной. Вдоль него вылезает из земли розоватый горичвет; стебли пока еще голые, без листьев, но сильные и высокие.

Я срезал прут, привязал к нему леску с мушкой на крючке и медленно направился вдоль ручья искать те места, где ловил рыбу Вок. Следом за мной, но на почтительном расстоянии, брела Габулька. Шла она тихонько, придерживая ключи рукой, и у меня, к сожалению, не было повода прогнать ее...

Она взвизгнула от радости, когда я бросил к ее ногам первую форель. Мы оглушили ее ударом о камень, продели сквозь жабры веточку и отправились дальше.

Через час, когда мы уже поднимались вверх по дороге, на нашей ветке болтались двенадцать форелей. Четырех маленьких я выпустил обратно в воду.

— Давай их зажарим! — прыгала вокруг меня Габка. — Обваливаем в яйце и сухарях. Ой, как вкусно!

Я сказал Габе, что жарить форель не умею. Запеку ее в духовке, посолю, и все тут. А если в чулане найду масло, можно будет заправить маслом.

— Надеюсь, ты не забыла наш уговор?

— Я? — оскорбилась она. — Смотри сам не забудь.

Ну что мне с ней делать! Я ведь знаю, что она меня выдаст.

А отец больше всего ненавидит, когда мы браконьерствуем у ручья. Форель он ест с удовольствием, но не выносит, когда мы ее ловим. Мне попадает, тут же влетает, если я осмеливаюсь приблизиться к ручью. И от Вока я немало натерпелся за рыб. Раньше Вок и не заметил бы, что я возле ручья. С Нового года он уже несколько раз приезжал домой, но ничего, что интересовало его раньше, теперь не занимает.

Мы открыли дом, оставили собак на улице, чтобы они предупредили об опасности, и я принялся чистить рыбу. Габка все время приставала, чтоб мы ее зажарили. Я сказал, что в чулане нет ни одного яйца. Тогда она надела мамин фартук и отправилась искать яйца в гнездах. Куры у нас какие-то ненормальные. Как только наступит весна и сойдет снег, они уже несутся не в сарае — в ящиках, высланных сеном, — а в самых несусветных местах по всей округе, и знает эти места одна только Габа.

— А если найду яички, поджаришь рыбу? — вернулась она из коридора.

— Ладно, найди. Потом увидим.

Конечно, не поджарю. А если ничего с духовкой не получится, тогда из яиц можно будет сделать яичницу.

Я уложил вычищенную рыбу на противень и положил на нее куски масла. Форель у нас светлая, серебряная, с красными точечками. Наверное, потому, что и в ручье вода серебряная. Отец как-то купил в Быстрице такую темную форель, что я просто представить себе не могу, в каком же ручье она жила.

Я сунул противень в печку и начал убирать в кухне, чтобы скрыть все следы браконьерства. Огонь в печке весело гудел, уже приятно запахло форелью, а Габка все не возвращалась. Я пошел в комнату и выглянул в окно. Где же она запропастилась? Но увидел только Стража, лежащего на солнце. Он с Габой не уходит искать яйца. Бой — тот ходит. Страж как-то раз

нашел гнездо, решил, что все пятнадцать яиц его собственность, и слопал их тут же на месте. Он этого и не думал скрывать. Габа увидела его желтую морду и побежала к отцу жаловаться. Тот закрыл Стража на целый день в умывальнике. Страж тогда так изгрыз дверь, что только щепки торчали. Вылезти он не вылез и вечером получил хорошую порку, но и остался доволен, что не подчинился несправедливому наказанию. С тех пор Страж больше не ищет гнезд. И презирает за это Боя. Не за то, что он помогает Габуле, а за то, что не сожрет ни одного яйца, эдакий подлиза.

Наконец из-за сарая показалась Габа в мамином фартуке. Одна, без Боя. Медленно и важно она вышагивала среди лопухов. Лопухи ее не скрывали. После долгой зимы они лежали на земле черные, сплетаясь, как разрубленные змеи. Габуля сделала еще несколько шагов, подняла голову и остановилась. И мне сразу стало жалко ее. Стоит она там, такая маленькая, заброшенная, непричесанная, в выцветших, грязных рейтузах, в большом фартуке, замазанных сапожках и, наверное, без носков. В красных сапожках, когда-то таких красивых. Стоит, хлюпает и рукой утирает нос. Озябшая, заброшенная девочка.

Я быстро открыл окно.

— Габа! — крикнул я. — Габа, иди сюда! Оставь ты эти яйца. Иди, рыба уже готова.

Но она не двинулась с места. Тогда я услышал, как внизу гудит машина. И увидел, как она показалась из долины. Наш «лимон»!

Было уже поздно выкидывать форель. Все равно рыбой пахло на всю долину. Я начал подготавливать себя к неприятному объяснению.

Посмотрел в окно. С виду все спокойно. И не понял, почему Габка вдруг застыла, как соляной столб. Почему она покраснела, почему опустила фартук, из которого выпали три белых яичка.

Что ее так поразило?

«Лимон» остановился под окном, и тогда я все понял.

Рядом с отцом сидела мама...

Я кинулся на улицу, но мама уже бежала через лопухи к Габуле. А та стояла как вкопанная, вся красная и испуганно глядела на три разбитых яичка.

С заднего сиденья поднимался Йожка. Я ему очень обрадовался. Хорошо бы он приезжал домой каждое воскресенье!

Мы вытащили из машины бельевую корзину с покупками и внесли ее в кухню.

Йожка учуял в кухне аромат и спросил равнодушно:

— Что это вы печете?

Я сразу выдал себя, хотя и не сказал ни слова. Он подошел к печке, открыл духовку. Оттуда пахло рыбьим духом.

— Какое сегодня число? — глянул он зловеще на меня.

— Какое? Да точно не помню. Знаю, что суббота, но какое число не знаю. — Я попытался выскользнуть в коридор.

— Так я тебе скажу! — крикнул Йожо. — Во всяком случае, еще не пятнадцатое мая!



Это я знал и без него. Но не могу же я всегда приспосабливаться к тому, что в апреле рыбу ловить нельзя. Я ловлю тогда, когда удастся.

— Ну и врезал бы я тебе, Дюро...

Он так злился, что казалось, сейчас швырнет мне на голову этот противень с рыбой.

Потом он хлопнул дверцами печки и сел к столу.

— Я не знал, Йожка... — начал я выкручиваться. — Мне показалось, что можно с первого апреля... Да и форель я брал только с молокой. Честное слово! Ни одной рыбки с икрой. С икрой я бросал обратно, ведь я не дурак...

— Не трепись, — сказал Вок, — а мушек давай мне, и леску. Кто тебе позволил хватать мои вещи?

Я вышел в коридор, будто за мушками. А сам кинулся навстречу маме. Она уже сидела под Марманцем и держала Габу на коленях. У Габы в руках был шоколад. Но она даже не разворачивала его. Сидела тихо, все так же, словно онемев.

Наверное, эта девчонка на что-то жаловалась маме...

А я не буду! Мне только хотелось спросить, останется ли мама дома.

Но я не спросил. Всегда со мной так. Хочу что-нибудь узнать и не осмеливаюсь. Только выжидаю, чтобы мне ответили и без моих расспросов. Как, например, без всяких расспросов Вок ответил мне насчет рыбы. Так ответил, что я чуть не схлопотал противнем по голове. В общем, достаточно ясно.

А с мамой вот неясно. Она все сидела под Марманцем. Я подсел к ней. Мама прижала меня, задумчиво коснулась дырки, которая уже давно зияет на моем старом свитере, потом вынула из своих волос гребенку и стала причесывать Габочку. Молча.

На лестнице появился отец.

— Идите есть, — сказал он. — Дюро приготовил нам угощение. Пожалуйста к столу!

Он сказал это спокойно, и я понял, что мне ничего не угрожает. Что за странные вещи творятся?

Мы вошли в дом, и отец принес мамин чемодан.

Правда, чемодан еще ничего не означает. Чемодан легко привезти и так же легко увезти обратно.

Мы накрыли с Габочкой на стол, когда отец позвал Йожку. Они что-то еще выносили из машины. Что-то в мешке.

— Дай ключ от погреба! — крикнул мне отец.

— Зачем тебе от погреба? — сказала мама. — Уже не холодно, несите ее в сарай. Недели через две-три можно сажать.

Бенюшская картошка!

Я подскочил к маме, но ничего ей не сказал, потому что боялся разреветься. Ну и пусть! Никто не видел, только мама. Что ж, я не Йожко. Он плакал только раз в жизни.

— Интересно, кто поставит маме плетень под Шпрнагелем? — сказал отец уже за столом. — И кто привезет навоз из коровника?

— Если я сказал, значит, сделаю. — Йожка встал из-за стола. В коридоре он обул сапоги и спустился с крыльца.

Я знал, куда он идет. А когда он исчез из виду, я отправился следом за ним. Как всегда. И я шел, и шел, хотя и не рядом, но все-таки не теряя его из виду. Пусть он побудет один, но не останется в одиночестве в этом сумраке под Козьим хребтом.

#### Примечания

1

Небольшой деревянный топорик.

2

Специальным образом зажаренное на огне мясо.

3

Э-э-э! Хороший выстрел! (искаж. нем.)

4

Ах, ах, как чудесно! (нем.)